

меня с одним из ассистентов Лесного института С. А. Самофалом, которого они считают очень оригинальным и серьёзным человеком, вышедшим из народной среды и с которым у неё складываются дружеские отношения¹.

Не скажу, чтобы при первом знакомстве с С. А. Самофалом он произвёл на меня значительное впечатление. Однако позднее, когда после женитьбы на моей дочери Савва Артёмович жил в одном с нами доме, я открыл в нём человека далеко незаурядного. Его мысли постоянно были заняты глубоким и беспристрастным анализом и обобщением всего, что он осваивал в науке, в философии и в развёртывавшейся вокруг него жизни. Помимо чтения лекций он заведовал в Лесотехнической академии станцией по отбору лучших семян. Но собственными опытами и статистико-математической проверкой результатов выращивания сосны и дубов из семян отборных и менее качественных, он убедился в решающем значении более счастливых условий последующего развития растений. Его называют Мичуриним в лесоводстве. Из своих опытов он сделал выводы для культивирования растительных организмов, аналогичные взглядам социальной гигиены в её борьбе с так называемым «социальным дарвинизмом» и «евгеникой». Савва Артёмович привлекал меня своей прямоотой и мужественным смелым характером. И я искренне считал его одним из лучших своих друзей.

Предвоенные годы (1938–1941). Арест и заключение

Уже в 1937 г., но особенно в 1938 г., всё чаще, всё непонятнее и неожиданнее становились случаи внезапного ареста и заключения в «Большой Дом» (БД)² партийных и непартийных работников советских учреждений, научно-исследовательских институтов и преподавательского персонала. Каждый день называли всё новых и новых лиц. Я не верил всяким слухам, считал, что молва всегда раздувает и преувеличивает тревогу.

¹ Савва Артёмович Самофал родился в 1885 в бедняцкой украинской семье. Рано остался сиротой, был подпаском. В 9 лет один ушёл в Харьков. Был певчим в церковном хоре, работал в лесничестве. Затем поступил и с отличием окончил лесную школу, где его заметил профессор В. Д. Огиевский и пригласил к себе в Петербург. Там С. А. экстерном сдал экзамены за курс гимназии и поступил в Лесотехническую академию. Учёба была прервана начавшейся 1-й мировой войной. Окончив школу прапорщиков, С. А. попал на Северо-Западный фронт, дослужился до звания штабс-капитана. За мужество и боевые заслуги был награждён орденами Св. Анны, Св. Станислава и Св. Владимира. В 1918 вернулся к учёбе, но вскоре был призван в Красную Армию. Воевал на разных фронтах, кончил службу в 1922 в должности начальника Разведуправления Северо-Кавказского фронта. Только в 1923, в возрасте 38 лет, С. А. закончил Лесотехническую академию и сразу активно занялся научно-преподавательской работой. За короткий срок он стал признанным учёным-лесоводом. Став профессором, он с 1931 до своей смерти в 1938 заведовал кафедрой лесных культур в Лесокультурном институте в Воронеже.

² Так в Ленинграде в годы репрессий называли здание НКВД на ул. Воинова (Шпалерной).

Однако для меня несомненным был совершенно уже невероятный арест Б. Ф. Дидрихсона. Супруга его со страданием рассказала мне, как пришли к ним, произвели обыск, не нашли ничего предосудительного, но тем не менее арестовали и увели в БД, не предъявив никакого обвинения и не сказав вообще, за что и для чего. Борис Фёдорович был искренний почитатель Сталина, восхищался советскими успехами, с внутренним умилением говорил о великом переломе и социалистических достижениях, закрепляемых под сталинским руководством. Ещё более непостижимым стал столь же неожиданный арест директора 2-го Ленинградского медицинского института Вольфсона — преданного члена ВКП(б), с энтузиазмом проводившего всегда и все директивы партийных органов. Затем последовал арест заведующего Горздравотделом — спокойного, настойчивого партийного работника Богена. Говорили об аресте таких законопослушных профессоров ГИДУВа, как Велановский, Цукерштейн и др. Аресты и заключение в БД с каждым днём ширились и захватывали всё новые круги. Говорили, что берут и увозят в Большой Дом людей без всякой связи с их взглядами и деятельностью: директоров заводов и просто рядовых инженеров, профессоров и случайных научных сотрудников. Нельзя было ничего понять. Говорили, что все держат наготове чемодан со сменой белья, одеялом и подушкой на всякий случай. От природы я не беззаботный аркадский пастушок, я всегда жду всего худшего, но на этот раз у меня ни разу не проскользнула мысль, что беда может свалиться и на мою голову...

Я весь без остатка отдавался профессорской работе в рамках общих заданий и директив; со всею добросовестностью работал в Институте коммунального хозяйства по разработке вопросов санитарного благоустройства Ленинграда. В течение многих лет все мои сотрудники, ученики, как и все вышестоящие работники, видели мою преданность делу социалистического строительства и готовность без усталости работать. Одинаково и директор НИИКХа И. М. Маврин, и директор ГИДУВа Н. А. Виноградов, мой бывший ученик по 2-му ЛМИ, близко видевшие и знавшие мою работу, ценили не только мои знания, но и мою заинтересованность в успехе социалистического строительства.

Летом 1938 г. Любовь Карповна с моей старшей дочерью Зиной и внучкой Любочкой были в Крыму для обеспечения противотуберкулёзного лечения, в особенности Любочке. Возвращаясь после рабочего дня на «Полоску», я после короткого послеобеденного отдыха по многу часов отдавался работам в саду и огороде. Всё домашнее хозяйство вела оставшаяся со мной на «Полоске» моя младшая дочь Лёля. В конце июля и затем в августе в Ленинграде стояла невыносимая жара. Воскресенье я обычно проводил в Пушкине у Екатерины Ильиничны, совершая прогулки по паркам и в окрестностях с Иликом. Как-то после лекции очередному циклу санитарных врачей в ГИДУВе в конце июля я торопился на трамвае по Кирочной улице, чтобы пересесть у Литейного на автобус к Витебскому вокзалу. Я обратил внимание, что при попытке выйти из трамвая меня сильно зажали со всех сторон несколько вскочивших через переднюю площадку молодых людей, которые затем, оттолкнув меня в дверь вагона, сами в вагон не вошли. Когда я затем хотел посмотреть на часы, чтобы проверить, не

опаздываю ли я к поезду, оказалось, что петля моего жилета, через которую было продето кольцо цепочки от часов, прорезана и ни часов, ни массивной цепочки не было. В течение многих десятилетий была у меня привычка так, по-старому, носить часы. Самые часы были мне дороги как подарок, сделанный в память первого пребывания нашего за границей. Мне сразу стала ясна вся процедура ограбления у меня часов. Я вспомнил, что когда я поднялся, чтобы выйти через переднюю площадку, сидевшие подле меня развязные молодые люди быстро устремились к выходу через заднюю дверь. Это именно они вскочили при остановке вагона на переднюю площадку, зажали меня, проталкивая народ в вагон, успели прорезать петлю, захватить часы и быстро скрылись за углом Литейного проспекта.

У меня нет пристрастия к вещам, но эта потеря сильно испортила мне настроение. Вернувшись в понедельник с работы на «Полоску», я принялся проверять себя, не забыл ли я часы, уезжая в субботу. Их, конечно, ни на столе, ни в ящиках не оказалось. В то время, как я всё ещё был занят поисками, в комнату вошёл какой-то человек в сопровождении двух других. Он предъявил приказ об обыске у меня и о моём аресте. Обыск он производил в высшей степени поверхностно. Очень мало интересовался бумагами, тетрадами, папками, взял мой паспорт и предложил следовать за ним. Я понимал злую мою участь. Моя самоотверженная милая Лёля твёрдо и настойчиво пререкалась с посланцем Большого Дома, старалась потом влить хоть луч надежды в моё сознание, трогательно ободряла меня, следуя долго за извозчиком, на котором меня увозили. Никогда не забыть этих минут расставания 20 июля 1938 г., когда я покинул Лёлю одну на «Полоске».

В Большой Дом меня ввели со Шпалерной улицы в отделение, где под охраной тюремной стражи ожидало уже несколько таких же, как и я, постигнутых злым жребием. У стола снимал оттиски пальцев приставленный к этому делу распорядитель. Он подозвал меня грубым окриком, после изъятия у меня из карманов всего, что там было (кроме носового платка) и составления описи, в которую были внесены и отобранные у меня очки, срезал все пуговицы от пиджака и брюк, так что штаны мне пришлось подерживать рукой; выдернул из ботинок шнурки и заставил меня сделать оттиск пальца на особом, покрытом печатной краской, листке.

Обращение его со мною вызвало у меня воспоминание о работе бойцов в зале для убоя скота. Ему совершенно безразличны были всякие мои чувства и недоумение от неожиданности совершаемых со мною и моим туалетом процедур. Затем я был поставлен в один из стоявших у стены фанерных шкапов. Дверь шкапа захлопнули. На все мои вопросы следовал окрик: «Жди!». Прошло мучительно долгое время (более часа), я изнывал от жажды и жары. Наконец дверь шкапа отомкнули и тюремный страж, предшествуемый тем самым чином, который привёз меня из дому, провёл меня по лестницам и коридорам к камере, в которую я был помещён.

Камера была переполнена заключёнными, стоявшими тесными группами вокруг столов и сидевшими вплотную друг к другу на скамьях вдоль стен. Было невыносимо душно. Казалось, что в этой давке и сутолоке нельзя прожить и часу, и я бы не мог поверить никому, что в этих условиях протянутся дни и ночи моей жизни в течение восьми нескончаемо длившихся месяцев

моего существования, полного невообразимых мучений и растаптывания последних намёков на человеческое достоинство.

Лязг железных засовов и замков тяжёлой двери стих, и я с моим небольшим тюком (подушка, лёгкое одеяло и летнее пальто, смена белья и кусок хлеба)¹ остался стоять, за неимением места, где бы можно было сесть, окружённый задававшими мне самые различные вопросы моими собратьями по несчастью. Их всех интересовало, что пишут в газетах, что делается в институтах, знают ли, что здесь бьют неповинных людей. Один из говоривших при этом успокоительно добавил: «Ну, вас-то, конечно, бить и калечить при допросе не будут, ведь вы уже старик (мне было 69 лет), да ещё и профессор, хотя заявляли другие — в соседней камере сидит профессор уже 73-летний, а его бьют, это — как кого».

Нашлись милосердные души, которые достали стакан воды и занялись устройством для меня места где-либо на скамейке, чтобы мне можно было положить вещи и сесть. Эту помощь мне оказал Александр Александрович Штакельберг². Услышав мою фамилию, он подошёл ко мне, сказал, что хорошо меня знает по рассказам своего отца, работавшего в Музее города. Сам Александр Александрович — зоолог Академии наук — толком не знает, по какому поводу он уже довольно давно находится в БД; думает, что причиной является его фамилия. Он переговорил с сидевшими на одной скамье научными работниками П. Н. Берковым³ и с Д. Д. Максutowым⁴ и с их согласия я был втиснут на ту же скамейку.

Поздно вечером я был вызван «к следователю». Мне заданы были вопросы для заполнения анкеты: где я работал, в каких именно институтах, с какого года читаю лекции, о моём семейном положении и пр. Никаких указаний, за что я арестован или какое предъявляется мне обвинение, сделано мне не было. Когда меня вернули в камеру, мои соседи с тревогой спрашивали, не били ли меня. Нет, меня ни о чём не допрашивали, а довольно сухо и мирно предложили дать сведения для заполнения анкетного листа.

Всю ночь доносились раздирающие душу вопли и крики, и я без объяснений понимал их причину и смысл. Но подсознательно у меня откуда-то непроизвольно явилась надежда, что я буду избавлен от этих мук. Я, ведь, ни с кем никаких знакомств не поддерживал, все силы со всею искренностью отдавал советскому строительству; неизбежно, непременно выяснится вся нелепость, необоснованность каких бы то ни было подозрений в отношении меня, и меня отсюда выпустят.

¹ По воспоминаниям Валентины Захаровны, делавший обыск сотрудник НКВД не велел З. Г. Френкелю брать с собой никаких вещей, но один из охранников шепнул ей: «Соберите, соберите какие-нибудь вещи, пригодятся...».

² Штакельберг Александр Александрович — российский энтомолог, в 1920–1942 работал в Зоологическом музее АН СССР.

³ Берков Павел Наумович (1896–1969) — литературовед, член-корреспондент АН СССР.

⁴ Максutow Дмитрий Дмитриевич (1896–1964) — оптик, член-корреспондент АН СССР, специалист по астрономической оптике. Изобрёл менисковые оптические приборы (телескоп Максutowа).

Несколько дней на допрос меня не звали. Я успел освоиться с совершенно кошмарной обстановкой. В набитой людьми до невероятного переполнения камере было более 140 человек. Был один водопроводный кран с раковиной для умывания. И рядом, тут же, открыто, находился один на всю камеру гончарный приёмник, заменявший сиденье, для испражнения. Была постоянная длинная очередь, чтобы сесть на это сиденье. Для меня было настоящим истязанием публично сесть и выслушивать нетерпеливые упрёки и требования прервать испражнение, чтобы дать возможность воспользоваться тем же устройством накопившейся очереди тех, кому нужно только помочиться.

В течение всего дня в камере то и дело происходили перебранки между отдельными обитателями, вызванные теснотой и неизбежными в этих условиях столкновениями. Бранные слова самого грязного и отвратительного характера постоянно висели в воздухе. Большинство заключённых курили и за неимением табаку часто дымили, набивая поднимаемые с пола окурки всяким мусором. Воздух был совершенно невыносим, но окна были наглухо закрыты. Приходилось ложиться на грязный, заплёванный пол, чтобы вдохнуть более свежую струю воздуха, прорывавшуюся из коридора через щель под дверью. Несколько первых дней у меня совсем не было ощущения голода и позыва на еду. От постоянного потения хотелось пить, и я испытывал безграничную признательность Александру Александровичу, делившемуся со мною несколькими имевшимися у него кусками сахара, когда в камеру приносили кипяток.

На скамье у стены, поближе к тёмному углу, сидел сосредоточенно глядевший вниз с опущенной головой один из товарищей, которого старательно заслоняли спереди, чтобы его не видно было наблюдавшему через глазок в двери тюремщику. Человек с опущенной головой постоянно был занят шитьём. Иголка была предметом строго запрещённым, при систематических обысках в камере за обнаружение у кого-либо иголки следовало наказание в виде целого ряда лишений, а иголка конфисковывалась. Но длительным трудом из какого-либо куска проволоки сооружалась новая иголка, нитки выдёргивались из полотенца, и Филимонов умело начинал опять оказывать неоценимые услуги товарищам своим мастерством. Я познакомился с Филимоновым и изложил ему моё горе: из-за срезанных пуговиц на штанах я вынужден был непрерывно сидеть, так как при вставании и ходьбе штаны сваливаются. Он сделал из оторванных от моего одеяла кусочков материала мягкие пуговицы и пришил их так, что можно было наладить поддержание штанов, как на помочах, и ходить не боясь, что они свалятся. В этой жизни, полной лишений и сведённой до самого низкого уровня, это было огромным благодеянием. Филимонов был мастером на «Красном путиловце». Он был старым партийцем и считал, что он, как и многие другие, совершенно без всякой вины посажен и сидит уже много месяцев, но что партия, в конце концов, доберётся до тех вредителей, которые орудуют в БД, — поэтому надо проявлять выдержку и не поддаваться угрозам и мучениям, и, ни в коем случае, не подписывать всяких вздорных, выдуманных показаний.

Прошли два или три первых дня пребывания в этом не вмещавшемся в моём сознании кошмарном адском сновидении. Утром лязг открываю-

щегося дверного замка и окрик тюремного стража: «Френкель, к следователю!». Пробираюсь через густую массу заключённых, прохожу к двери. Надзиратель выводит меня в коридор. Меня осматривают, обыскивают все карманы и передают ожидавшему уже в коридоре «следователю», — тому же самому, с серым лицом и кавказской фамилией человеку, который уже снимал с меня допрос для заполнения анкетного листа.

Теперь он, не торопясь, шёл на несколько шагов впереди, а непосредственно вслед за мною шёл надзиратель. Мы прошли длинный коридор, поднялись несколько маршей по лестнице, затем опять шли по коридору, в котором у стены стояли повсюду небольшие фанерные шкапы. Когда впереди показался шедший нам навстречу заключённый, сопровождавший меня стражник открыл ближайший шкафчик и втокнул в него меня. Так простоял я лицом к стене несколько минут, пока следователь не приказал вести меня дальше — в боковую комнату, куда он вошёл. У окна в этой комнате стоял стол, за которым сидел, по-видимому, канцелярский служащий. Когда дверь за мною закрылась, следователь совершенно неожиданно для меня обратился ко мне с самою бессмысленною бранью: «Ну, ты, б..., теперь ты, б..., мне говори, что ты, б..., делал против советской власти?!» Как всегда в моей жизни в наиболее критические моменты, я с полным самообладанием ответил, что ничего против советской власти не делал, а вполне сознательно и добросовестно работал и работаю в соответствии с указаниями советской власти, на пользу советского строительства. Следователь быстро подошёл ко мне и оказавшейся в его руках линейкой, осыпая меня самой грязной бранью, стал наносить мне удары по шее, по лицу. Несколько раз он бил ребром линейки, потом нанёс кулаком сильный удар спереди по рту, по-видимому, чтобы заглушить дикие вопли, бессознательно мною издававшиеся. Я упал на пол, и он пинал меня ногою; затем, так как у меня изо рта шла кровь, подал мне стакан воды, чтобы я прополоскал рот. У меня был вышиблен зуб на нижней челюсти... «Это тебе для того, чтобы ты понимал своё положение и написал всё, что от тебя требую. А будешь упираться, так в куски тебя здесь разобью. Ты не думай, что с тобой буду церемониться, что ты, б..., какой-то особый, так как о тебе понадобилось распоряжение самого Молотова. Ночью тебя, как падаль, в помойную яму выбросим...», — и т. д., и т. д. Всё это уснащалось непрерывным потоком бранных слов. Мне было приказано стоять «руки по швам, прямо». Простоял час, другой, меня мучила жажда, боль во рту и смертельное утомление. Время от времени следователь кричал на меня, приказывал стоять навытяжку. Наконец он на минуту вышел из комнаты. Сидевший у стола протоколист торопливо дал мне несколько глотков воды и посадил на табурет, но, заслышав шаги, поскорее убрал табурет.

Так простоял я весь день. Вечером произошла смена следователей. Место моего палача занял другой. Позднее я узнал его фамилию — Леонтьев. Он строгим, крикливым голосом приказал мне изложить все свои проступки и вредную деятельность против советской власти. На моё заявление, что я никакой антисоветской деятельностью не занимался и никаких проступков не совершал, он грозно заявил мне, что за такой мой отказ сознаваться он мог бы меня без всяких разговоров пристрелить и для

устрашения поднял револьвер и потряс им в воздухе: «Жаль на тебя пулю тратить, я тебе расшибу череп рукоятью». Затем он приступил к допросу. Потребовал назвать фамилии всех моих знакомых, которые бывают у меня на квартире или которых я навещаю. Я ответил, что в гости сам ни к кому не хожу, так как занят своими научными и исследовательскими работами, а встречаюсь только с сотрудниками по кафедре и в институтах. По его настоянию я должен был назвать фамилии этих сотрудников: ближайшего сотрудника Дидрихсона и других участников, работавших вместе со мною в Музее города, доктора С. А. Дружинина. Он требовал вновь и вновь называть всех знакомых. Всю ночь продержал он меня без всякого отдыха у стола, а утром его сменил прежний «следователь». Этот опять повторил своё то же самое требование ко мне сознаться во всех моих преступлениях против Октябрьской революции и против советской власти. Он развернул принесённый с собою альбом членов 1-й Государственной думы. Перелистывая его, кричал: «...ты, б..., покажи, кто из них входит теперь в тот центр, из которого ты получаешь директивы, показывай, каких меньшевиков и кадетов ты теперь объединяешь...». Я совершенно добросовестно объяснил, что более 25 лет ни разу ни одного из членов 1-й Государственной думы не видел и ни от кого из них ни разу не получал писем. Он стал по порядку указывать портреты думцев. Случайно, это оказались портреты людей давно умерших. Да и что удивительного — я был одним из самых молодых членов Думы, мне тогда исполнилось 36 лет, — возраст, дававший пассивное право быть избранным, а подавляющее большинство членов Думы были старше меня на 20–30 лет. Теперь бы они уже были стариками по 90 лет и старше, а до этого возраста люди редко доживают.

Следователь потребовал, чтобы все свои показания я изложил собственноручно. Дал мне бумагу и перо. Я писал всю вторую ночь. Изложил мою работу в советских учреждениях, подробно указал на отсутствие даже косвенных каких-либо у меня сведений или отношений с сочленами моими по 1-й Государственной думе и т. д. Вторую ночь продолжался допрос. Утром следователь прочитал исписанные листы моих бесхитростных и абсолютно правдивых показаний, изодрал их в куски и приказал писать новые, а пока поставил к стене, угрожая новыми побоями. Не видно было никакого выхода. Мною овладело тупое отчаяние и какое-то сумеречное состояние, точно в тяжёлом сне. Я попытался разбить себе голову ударом о стену. Череп оказался крепким. Но меня отодвинули подальше от стены и заставили продолжать стоять. Однако самому моему палачу, по-видимому, наскучило дальнейшее мучительство, он приказал провести меня в уборную «оправиться». Там мне стражник дал воды освежить лицо и голову, а когда меня привели к следователю, он послал того же стражника принести мне из буфета бутылку молока (очевидно, он понимал, что боли во рту не позволят мне принять другую пищу).

Сколько я могу восстановить в моём сознании всю обстановку этих дней, мне кажется, я был в каком-то полузабытьи. Около 60 часов непрерывного необычного напряжения, страдания, обращения со мною как с убойной скотиной, погружали меня в какой-то сон наяву. Помню, что молоко я выпил сразу всю бутылку и по предложению «следователя» на

четвертухе бумаги написал отрицательные ответы на поставленные мне вопросы: никто никогда меня не завербовывал ни в какую вредительскую, либо противосоветскую организацию. Я старался работать, как добросовестный советский служащий. Не могу придумать за собой вины. Приняв мой листок, «следователь» заявил: «Ну, это всё мы ещё увидим» и приказал меня отвести в камеру, где я отсутствовал уже более двух суток.

Когда двери камеры открыли, и я был впущен в неё, вид у меня был, очевидно, такой, что никто из товарищей по несчастью меня ни о чём не расспрашивал. Участливо привели меня на моё место, и я залез под скамейку, меня скрыли ноги сидевших. Там я пролежал до команды «спать». При этой команде в камере началось, как всегда, светопреставление: все скамейки составлялись в два яруса, одни укладывались рядами внизу, другие на скамейки наверху. Всё стихло, и в наступившей тишине под скамейкой я сделал попытку задушить себя, перевязав горло носовым платком. Но мой незнакомый мне сосед, лежавший рядом под скамейкой, ещё не спал. Он стал тихонько меня уговаривать и успокаивать, точно сам переживал моё отчаяние. Его покровительственное сочувствие вызвало у меня неуправляемые слёзы...

Следующий день я сидел между моими соседями без желания поделиться с ними моим бедственным положением. Мне представилась бесповоротно предопределённой моя участь: не могут же меня выпустить после всего того, что надо мною проделывалось. Значит, не сегодня, так завтра, меня не оставят в живых, или, в лучшем случае, куда-нибудь ушлют так, что ни моя семья, никто из близких, ничего больше обо мне не услышат и не узнают, как ничего не услышали мы о Дидрихсоне или профессоре Эрисмановского института коммунальной гигиены И. Р. Хецрове и других.

Меня в течение нескольких дней не звали на допрос. Целый день и ночь было тревожное тягостное настроение. Вот откроется дверь и опять начнутся бессмысленные мучения. Ничего, хоть отдалённо похожего на какое-то обвинение, выдумать мои палачи просто не способны, по своей полной безграмотности. Все они на один лад подготовлены только к невероятно грязной брани и бессмысленному мучительному издевательству и битью. Впереди никакого просвета. Приходилось жить только непосредственными минутами и часами, пока я остаюсь среди таких же беспомощных, попавших в беду, как и я.

Многие были здесь в этом положении долгие месяцы. Вплотную рядом со мной на скамье сидел человек небольшого роста, проявлявший живое внимание ко всякого рода раздорам и взаимным ссорам и перебранкам между собою нервно возбуждённых товарищей по несчастью. Он вмешивался в эти ссоры, сопровождавшиеся взаимной унижительной и недостойной грязной бранью, спокойно выслушивал обе стороны и с невозмутимым спокойствием убедительно произносил своё осуждение тому или другому. Чувствовалось огромное моральное и интеллектуальное превосходство этого человека над спорившими. Меня удивило, как хватает у него интереса, чтобы с таким вниманием относиться к проявлениям возбуждённости окружающих. Я познакомился с этим моим соседом. Это был Павел Наумович Берков, научный университетский и академический работник, человек с глубоким гуманитарным, по-видимому, филологическим обра-

зованием. В один из последующих дней после вечерней еды в камере наступила тишина и П. Н. Берков, по общему желанию, тихим, но внятным голосом (чтобы не вызывать внимания наблюдавших через глазок тюремщиков) рассказывал о наиболее выдающихся русских писателях и поэтах. Поражало его знание произведений всех наших писателей. Он целыми страницами цитировал Толстого, Тургенева, Достоевского и Некрасова. В камере, ведь, не было ни одной книги, ни клочка бумаги, ни карандаша. Всё изложение плавно лилось у Павла Наумовича прямо из его памяти, из которой он безотказно извлекал все нужные ему цитаты в его тщательно продуманном построении. В этом Дантовом аду вызвать такое внимание к образам Пьера или Левина, к творческому гению Толстого и Пушкина, и всё это — так вдохновенно и с глубоким знанием связать с революционным мировоззрением — было каким-то сказочным чудом возвеличения человека, человеческой личности и человеческого достоинства среди грязных, зловонных волн омерзительного унижения и удушения человека.

С волнением и слезами признательности слушал я в этой обстановке талантливую лекцию. В следующие дни я ближе познакомился с П. Н. Берковым. Так же, как и я, он не мог никакими догадками объяснить себе причину тогда уже довольно длительного своего содержания в БД. На допросах он подвергался ещё более чем я, изнурительным и мучительным приёмам, чтобы заставить его измыслить какую-либо версию своей виновности перед советской властью. Так как он был перед арестом в научной командировке в Вене, то от него добивались, чтобы он признал себя виновным в доставке в Австрию недозволенных сведений из СССР. Его так же заставляли часами стоять, опираясь о пол пальцами рук и ног. Это причиняло страдание до потери сознания. В конце концов, он написал длинное и обстоятельное признание, в котором приписал себе деяния дипломата какой-то французской повести наполеоновской эпохи, причём все лица, которым производилась мнимая передача сведений, были названы именами персонажей этой повести. После этого его перестали тиранить, и дело пошло на оформление для окончательного приговора. Забегая вперёд, упомяну, что при пересмотре дела несколько месяцев спустя, Павел Николаевич рассказал всё это пересматривающей инстанции, была произведена сверка его «признаний» с литературным оригиналом начала XIX в., и Павел Николаевич был освобождён и возвращён к чтению лекций в Ленинградском университете.

В следующие дни, в те же часы и в той же обстановке, состоялись лекции Павла Наумовича о древнейшей египетской письменности, о литературе древнего Китая и Индии. За отсутствием карандаша и бумаги я не мог запечатлеть мою признательность, как одного из слушателей Павла Наумовича, но я ему на словах сказал посвящённый ему мною акrostих:

Бор таинственный дремучий
Ель зелёную ветвистую взрастил.
Распростёрши ввысь свой рост могучий,
Корни шири меж сосен вековых пустив,
Одевает ель зелёными ветвями
Великанов сосен стройные стволы.

Павел Наумович сразу же расшифровал акrostих и скрытый в нём образ взрастившего на великих творениях тысячелетней истории человечества живого творчества современной литературы, надиктовал мне на память, к сожалению, мною забытый и не восстановленный, его акrostих по моему адресу.

В один из вечеров, когда Павел Наумович сделал перерыв в своих лекциях по истории мировой литературы, камера наша, с её населением более чем 140 человек, с большим интересом слушала рассказ инженера — строителя гидростанции А. И. Радченко о его путешествии по Швеции и впечатлениях его о Стокгольме и других городах этой страны. Вскоре после возвращения из командировки он, как и многие другие инженеры, попал в БД. Он глубоко возмущался ничем с его стороны не вызванными обвинениями и отказывался от сочинения каких бы то ни было измышлений и самообвинений. Он уже длительный срок переносил издевательства. По-видимому, это был хороший специалист в узкой отрасли инженерного строительства, но достаточно примитивный и мало разбирающийся в вопросах общественно-политических. В своём живом изложении впечатлений туриста от шведских городов, он попутно, между прочим, утверждал, что в Ленинграде пришло в упадок всё его бывшее санитарное благоустройство; что раньше в Ленинграде были хорошие мостовые и лучшие санитарные условия, а после революции благоустройство города пришло в полный упадок.

Когда он окончил, я попросил разрешить мне, как специалисту, много лет занимающемуся вопросами благоустройства города, внести некоторые поправки и осветить гигиеническое положение Ленинграда. Я указал, что до Октябрьской революции в прежнем Петербурге было лишь показное внешнее благоустройство, и оно ограничивалось только центральными частями города, где жила лишь знать и более богатые слои населения (купцы, высшие чиновники и пр.), а в тех частях столицы, где жили рабочие, — за Нарвской заставой, на Шлиссельбургском тракте — улицы совсем не имели никакого благоустройства, утопали в грязи. В этих частях города не было ни водопровода, ни уличных труб для отвода грязных вод. Я сослался на мои печатные отчёты и доклады 1898–1902 гг. и ряд позднейших работ о холерных и брюшнотифозных эпидемиях в Петербурге. Только после революции появились в Ленинграде благоустроенные мостовые, не булыжные и негодные в санитарном отношении деревянные, а брусчатые и асфальтобетонные. Водопроводная сеть охватила все части города и вода стала подаваться обезвреженной. Да и все показатели санитарного состояния населения резко улучшились: не стало холерных эпидемий, резко сократился брюшной тиф, показатель смертности снизился с 23–25, почти вдвое, до 13–14 на тысячу населения. Увеличилось число и доступность городских садов, появилась сеть детских учреждений. Трудно всё благоустройство осуществить одновременно, сразу; но сделано после революции уже чрезвычайно много и разработан вполне реальный обширный план строительства во всех отраслях благоустройства и жилищного строительства. Точное знание положения, фактические данные, которые я сообщал в ответ на скептические замечания инженера Радченко, устраняли у слушателей всякие сомнения в том, что в советские годы начался и всё шире развёртывается

процесс коренного и всестороннего благоустройства города и жилищного и коммунального строительства.

Раздышка моя от допросов продолжалась недолго. Меня опять вызвали в утренние часы. Допрашивал Леонтьев, тот самый, который ночью угрожал мне, что рукояткой револьвера разобьёт мне череп, если я не назову имена и фамилии всех моих знакомых. На этот раз он предложил мне сесть за отдельный столик, на котором стояла чернильница и лежал листок бумаги, и написать ответ на вопрос о голубях: кто мне привозил или приносил голубей, сколько и когда. Вопрос был так бессмыслен и так явно нелеп, что я просто не мог понять его. Я ему объяснил, что никаких голубей у меня не было, и я не могу понять, чего он от меня хочет. Он быстро подошёл к столику, за которым я был посажен, и стал наносить мне удары по лицу и плевать мне в глаза. На мои вопли вбежал тюремный страж, у которого я просил дать мне воды, чтобы помыть лицо. К моему удивлению, на этот раз стражник, не спрашивая разрешения у следователя, поправил сваленный на пол стул и быстро принёс чашку воды и помог мне умыться. «Следователь» предложил мне выпить принесённое по его распоряжению молоко. Его предложение осталось без всякой реакции. С грубой, общепринятой у этих палачей бранью, он приказал мне написать ответы на вопросы о голубях. Я написал, что голубей не разводил, никто никаких голубей мне не приносил и не привозил. После этого я был отправлен в камеру. Оказалось, что в камере были слышны мои вопли. Предложенные мне вопросы о голубях не вызвали удивления у моих товарищей по камере. Мне разъяснили, что следователь имел в виду почтовых голубей, чтобы пришить мне построенное на этом обвинение.

Ночью меня опять повели на допрос. Этот допрос тянулся долго. Сначала его вёл молодой парень — Фалин. Он долго и много говорил, вернее не говорил, а кричал, укоряя меня за то, что тридцать лет тому назад я был членом 1-й Государственной думы. Следовательно, теперь я должен ответить за все «провинности» фракции, к которой я принадлежал, и должен раскрыть все пути, которыми поддерживаются сношения с бывшими членами Думы. Я очень спокойно разъяснил, что решительно и безусловно ни с кем из бывших членов Думы не поддерживаю никаких связей и не знаю, живы ли они и если живы, то где находятся в данное время.

Затем Фалин передал меня какому-то другому следователю, и меня повели в подвальный этаж. Там допрос продолжался с обычными приёмами продолжительного стояния. При этом из-за перегородки всё время неслись душераздирающие крики избиваемого. Мне кажется, от утомления я впал в какое-то остоленение, что-то отвечал, писал какое-то показание, упоминая в нём медицинскую газету «Lancet», которую обычно просматривал в Публичной библиотеке. Утром меня повели куда-то в верхний этаж, и там меня допрашивал какой-то более важный и не столь молодой чин по фамилии Кудрявцев, как мне сказал об этом сидевший рядом с ним и о чём-то ему докладывавший Фалин.

Это была уже вторая ночь, как меня непрерывно передавали из рук в руки для допроса. По существу мне не было предъявлено никакого обвинения и ни о чём определённо меня не допрашивали. Здесь опять вновь и

вновь меня изнуряли и измочаливали долгим, бесконечным стоянием, с наблюдением, чтобы я не приближался и не опирался как-либо о стену. Наконец, силы покинули меня. Я беспомощно повалился на пол. Строгими окриками и приказами тюремному стражнику поставить меня, ещё на несколько часов продлили моё стояние. Потом я свалился на пол и мне, как особую милость, предоставлено было остаться в забытии. Потом я услышал окрик: «Теперь довольно, вставай!» Я осмотрелся и не сразу понял, что я в той же комнате, на допросе. Но обоих моих допрашивателей я не узнал. В полумраке комнаты мне казались они людьми с длинными бородами. «Вы знаете, где вы и кто с вами говорит?». Эти двое почему-то обращались непривычно — на «Вы» и не сопровождали своё обращение ко мне принятыми здесь омерзительными бранными словами. Меня допрашивал «следователь» Фалин, но он был без бороды. Нечего фантазировать, и теперь никакой бороды нет. Было утро, тянулся мучительный, бесконечный день, я всё стоял. Казалось, что мучителям до меня нет никакого дела. К Кудрявцеву приходили подчинённые и вышестоящие лица, вели с ним разговор, а меня, как мебель, то отодвигали подальше в угол, то ставили поближе. Меня спрашивали о журнале «Lancet», то совершенно бессвязно о Государственной думе 1-го созыва. Так как от полного изнеможения глаза у меня стали закрываться, то ко мне был приставлен большого роста крепкий служитель, не в тюремной форме (по-видимому, какой-то страж, проходивший «производственную практику»), которому поручено было раздвигать и поддерживать открытыми веки моих глаз. Вероятно, он считал меня в чём-то виноватым и потому без всякого человеческого сожаления производил эти процедуры, иногда при этом приговаривая вполголоса: «Будешь знать, будешь помнить, что советской власти вредить нельзя». Я неизменно повторял, так же вполголоса, что никогда и в помыслах не имел вредить советской власти, а всегда работал на пользу того дела, которое мне советским правительством поручалось.

Вечером этого дня меня вернули в камеру, и я забылся под скамейкой в тяжёлом сне. После этого меня довольно долго не звали на новые допросы. Изрядно ослабевший, я страдал сильными болями в кишечнике и непрерывными позывами к испражнениям. В это время среди заключённых были распространены заболевания дизентерией. Однажды ночью меня вызвали с вещами. В закрытом грузовике вместе с несколькими другими заключёнными провезли через Литейный мост на Выборгскую сторону и через двор Выборгской тюрьмы провели меня в больницу БД, устроенную в отдельном доме. После обычных процедур приёмного покоя я был помещён в одной из палат второго или третьего этажа. В палате соблюдался всё тот же строгий тюремный режим, вёлся постоянный надзор через глазок тюремным надзирателем. Кроме меня было занято ещё 14 коек. Моим ближайшим соседом оказался совсем ослабевший, по-видимому, немец — инженер литейного завода на Выборгской стороне, совершенно сломленный от свалившейся на него невзгоды, решительно не понимавший, в чём его вина, для чего и почему его держат в заключении. У него осталась дома одна, на произвол судьбы брошенная больная старуха-жена, и это постоянно мучило и тревожило его. Он был набожным лютеранином и утром молился

подле своей постели. При утреннем врачебном осмотре и опросе врачом я с эпическим спокойствием рассказал, как валялся на допросе на асфальтовом полу, как подвергался побоям и обо всей обстановке в камере. Женщина — врач, по-видимому, хорошо знала меня, как профессора 2-го Ленинградского медицинского института, но не проявляла никакого внимания к моей чрезмерно выраженной ослабленности. Она назначила мне лечение бактериофагом и старалась, как можно меньше времени задерживаться у моей постели, чтобы, как мне казалось, не навлечь на себя подозрений.

После обхода ко мне подошёл один из больных. Это был профессор ЛИКСа Карпович, читавший также лекции санитарным врачам по строительной гигиене в ГИДУВе. Я хорошо знал его по работе в Музее города и на курсах коммунального хозяйства. Он был любителем-садоводом и жил в своём небольшом доме в Новой Деревне, где у него был замечательный небольшой придомовый ягодно-фруктовый садик и цветник. Он был несколькими годами старше меня. Теперь я долго не мог узнать его, так он изменился, постарел и исхудал. Он едва слышным шёпотом рассказывал об испытанных страданиях при так называемых «допросах» и о полном своём недоумении, почему на него, всегда такого корректного и законопослушного советского учёного-архитектора, свалилось такое бедствие. Он уже довольно долгое время находился в больнице после длительных «допросов». Так же, как и сосед мой по койке, старик-инженер, как оказалось, швед, и Карпович страдал от неизвестности, что случилось с его очень пожилой и слабой женой, оставшейся после его ареста совершенно беспомощной. Карпович рассказал мне о многих больных нашей палаты. Особенно выдающимся по своим знаниям и таланту, по словам Карповича, был лежавший всё время закрытый с головой одеялом главный инженер завода «Электросила» (кажется — Ефремов)¹. Второй раз после допросов, его, избитого и измученного, помещают в больницу. Как и все другие, он решительно не знает за собой никакой вины. По делам проектирования электрогенераторов большой мощности он имел научную командировку в США, и по возвращении оказался в БД. Когда он стал поправляться, он по просьбе соседей рассказал, как его избивали в подвале, требуя, чтобы он написал о своих вредительских замыслах; но это до такой степени оскорбляло его цельную профессиональную честь увлечённого энтузиаста, талантливого инженера-учёного, что никаких требуемых от него наветов на себя он не сочинял, невзирая на нещадные побои.

Скажу тут же, что позднее, почти год спустя, когда я продолжал работать в качестве профессора в Ленинграде, я случайно в трамвае был окликнут одним пассажиром — Жешко, которого я не узнал, но который сказал мне, что лежал в больнице вместе со мною, когда там был также главный инженер «Электросилы» Ефремов. Я поинтересовался его дальнейшей участью. Так же, как и говоривший со мною инженер «Электросилы»

¹ Ефремов Дмитрий Васильевич (1900–1960) — С февраля 1938 находился под следствием в органах НКВД, в июле 1941 освобождён и назначен зам. директора «Электросилы» и зав. кафедрой Политехнического института. После войны — министр электропромышленности СССР.

Жешко, по его словам, главный инженер вернулся и продолжает свою деятельность на своём заводе. С горечью упомяну о печальной кончине профессора Карповича, который умер в общей камере БД, куда его перевели из больницы.

Был уже конец августа или начало сентября, когда я первый раз попал в больницу. У меня было бесповоротное внутреннее чувство, что после всего, что было со мною и свидетелем чего я был в БД, для меня нет никакого будущего и потому, по совету Горация, мне оставалось лишь заполнять все оставшиеся мне минуты проявлениями доступной нам внутренней жизни, осмысливанием и переживанием неисчерпаемых запасов накопленных в разные периоды жизни впечатлений. За тщательно затянутыми марлей и замазанными белой краской окнами тюремной больницы стояли золотые дни начавшейся осени. В такие дни я так любил в течение многих лет отдаваться непосредственным восприятиям всегда манивших к себе красот парков, менявших свой зелёный общий фон на яркие наряды золота и пурпура осени. И я предложил Карповичу, которого я знал, как тонкого ценителя оттенков расцветки в архитектурных творениях, мысленно прогуляться по паркам Павловска и Детского Села, Стрельны и Петергофа и, не сходя с больничных кроватей, отдаться созерцанию их осенних красот, заставляя ожить отложенные в нашей памяти оттиски и следы прежних впечатлений, и тем преодолевать сумрак и потёмки беспросветности нашего положения. Карпович не раз слышал от санитарных врачей и от студентов Коммунального института, как увлекались и ценили они экскурсии по паркам Детского Села и Павловска под моим руководством. Он переговорил с несколькими больными, и в послеобеденные часы, в полной тишине тюремной палаты, я предложил перенестись, следуя за моим рассказом, на стрелку Елагина острова, полюбоваться новым, недавно разбитым цветочным оформлением береговой полосы и тёплой туманной далью моря, прогуляться по аллеям до Елагина дворца и затем, с лёгкостью мысли, перенестись на скамейки перед белой колоннадой архитектурного творения Кваренги и посмотреть, в лучах вечернего солнца, на разбросанные на лужайке, замыкающейся гладью пруда, отдельно стоящие могучие дубы и склонившиеся над водою серебристые ветки ивы. Часа два мы мысленно прогуливались по Александровскому парку города Пушкина и с разных точек смотрели на тонкие колонны Камероновой галереи и остановились на террасе, бывшей когда-то зимней катальной горкой, со всеми её копиями классических скульптур, любуясь вечерним видом на Большой пруд, обрамлённый сказочными парковыми пейзажами. Наша мысленная прогулка по Детскосельскому и Павловскому паркам, куда добрались мы по Дубовой аллее и по Верхней Павловской дороге, не отрывая глаз от блестящих среди береговых зарослей вод Нижнего пруда, следуя за моим изложением, тянулась дня три.

На смену этой прогулке пришли, вызвавшие ещё больший интерес и общее внимание, рассказы главного инженера «Электросилы» (Ефремова) о заповеднике наибольших великанов среди древесных пород всего мира, произрастающих в калифорнийских горных лесах: о веллингтониях и секвойях высотой до 120 метров. С захватывающим интересом слушали

мы рассказы о путешествиях этого образованного инженера, о посещении им знаменитейшей во всём мире Калифорнийской астрономической обсерватории. В следующие дни мы слушали рассказы других товарищей по больничной палате — одного кинооператора и киноартиста, рассказавшего об интересных киносъёмках, а затем — рассказ строителя ленинградского Мясокомбината. Тяжёлые испытания, перенесённые этими людьми, привели их в тюремную больницу.

Я не успел ещё вполне оправиться от моей болезни, как для допроса меня привели из больничной палаты в специальную комнату в подвальном помещении, где ожидал меня уже известный мне следователь — Леонтьев. Он довольно долго томил меня расспросами о знакомстве моём с рядом людей, фамилии которых я слышал в первый раз. Никогда и нигде я с ними не встречался. Что мог я сделать, если я действительно не знал их, а он вновь и вновь настойчиво добивался, чтобы я «сознался» в знакомстве с ними. Следователь вызвал немолодую женщину — врача больницы и спросил её, можно ли меня уже взять из больницы для производства следствия. Не взирая на всю мою слабость, она при мне тут же ответила утвердительно. На следующий день я был в закрытом фургоне возвращён в БД и помещён в прежнюю камеру.

У меня погасли последние остатки надежды на лучшую долю. В камере тем временем стало ещё теснее вследствие добавления новых обитателей, но, увидев профессора Беркова, А. А. Штакельберга и других прежних соседей по месту на скамье, я почувствовал облегчение, точно вернулся к родным. Среди вновь втиснутых в нашу камеру по соседству со мною оказалось несколько очень заинтересовавших меня людей. Андрей Петрович Ковалевский¹, светлый блондин с молодым задумчивым лицом, стройный и подвижный. Востоковед, работник Академии наук. Его почти каждый вечер вызывали к «следователю». Утром он возвращался, мылся под краном и сосредоточенно и молчаливо сидел после утреннего чая. Переживая вместе с ним его состояние после длительного пребывания у «следователя», я как-то невольно старался чем-нибудь выказать ему сочувствие, предлагая ему оставшийся у меня кусок сахара и пр. Для него было непостижимой загадкой, почему и для чего оторвали его от учёных работ по востоковедению и подвергают таким бессмысленным и жестоким «допросам»: «С каких пор завербован? Кем завербован?» и т. д. Он работал над изучением истории древнеарабской культуры и письменности. Ко всему, что с ним происходило, он стал относиться со стоической выдержкой. Поближе познакомившись со мною, он рассказал, что в то время, когда «следователь» бил его ремнём по спине, он старался отвлечь своё внимание от болевых ощущений сосредоточенным напряжённым восстановлением в своей памяти целых страниц древнеарабских рукописей.

Охотно делился он со мною своими домашними горестями — тяжёлой неизлечимой болезнью жены (рак). Весь уход за нею и всё домашнее хо-

¹ Ковалевский Андрей Петрович (1895–1969) — историк-востоковед. Работал в Музее этнографии, с 1935 — в Арабском кабинете Института востоковедения. В 1938 был осуждён и провёл 6 лет в Пермских лагерях. С 1949 работал в Харькове.

зайство вела не терявшая жизненной бодрости сестра жены. Андрей Петрович вспоминал о многолетних своих путешествиях в юности, которые он совершал вместе со своей матерью по берегам Адриатического моря, о продолжительной жизни с нею в Сербии. Он охотно отозвался на предложение в тихие вечерние часы занимать население нашей камеры лекциями по истории Востока. Меня не покидало удивление, когда многими часами я слушал плавно излагаемую им заглушенным голосом историю древнейшей арабской письменности; причём он по памяти приводил целые страницы из древних памятников. Днём, готовясь к вечерней беседе, он сидел в сосредоточенном обдумывании, а ведь никаких справок или пособий у него не было, да и карандаша и бумаги, как и иголки, в природе нашей камеры не существовало.

Всплыв в нашей камере, как Лоэнгрин, А. П. Ковалевский был потом переведён от нас, и ни тогда, ни после до меня не доходило никаких вестей о судьбе этого взлелеянного и так замечательно воспитанного широко образованной любящей матерью работнике Отделения востоковедения Академии наук СССР.

На другом конце нашей пристенной скамьи новым обитателем камеры оказался инженер-электрик А. И. Розен. Он работал референтом по вопросам электроснабжения в Смольном и так же, как и все его соседи, недоумевал, что могло послужить причиной злой участи, приведшей его в БД. В нашу камеру он был переведён из тюремной больницы, где провёл несколько недель на инсулиновом лечении вследствие сахарного диабета. В качестве диетического лечебного средства он получал листья и части коченей капусты. Мы как лакомство съедали получаемые от него кусочки свежих капустных листов. Розен производил впечатление очень знающего инженера и хорошо образованного человека в более широком смысле. Он тоже охотно отозвался на приглашение заполнить часы тихой беседы рассказом о состоянии и перспективах электроснабжения Ленинграда. Через несколько дней он предложил очередную «тихую беседу» свою посвятить не инженерным вопросам, а поэзии Тютчева, которого он высоко ценил за свежесть образов. Для иллюстрации тех оригинальных сторон поэтического творчества, за которые он ценил Тютчева, он на память декламировал много стихотворений поэта. Среди них, между прочим, было небольшое стихотворение, посвящённое декабристам. Мне претила в этом стихотворении самовлюблённость, бездушность Тютчева.

В стихотворении «14-е декабря 1825» внимание Розена привлекли такие образы, как «вечный полюс вековечных льдов» и несоизмеримость с ним «скудной капли» горячей крови человека; как «железная зима» и пр. Мне не приходилось раньше читать или слышать это стихотворение Тютчева, но к самому поэту у меня всегда было отношение, как к человеку, мне чуждому, враждебному по духу. Ночью, мучимый бессонницей, я пытался слово за словом восстановить в памяти приведённое Розеном стихотворение. В результате настойчивых усилий мне, в конце концов, в долгую, нескончаемо тянущуюся тюремную ночь это удалось. Вот это стихотворение:

Вас породило Самовластье,
И меч его вас поразил, —
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

О, жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

А параллельно со стихами Тютчева, вызвавшими у меня не восхищение образами, а отвращение и глубокое негодование черствостью поэта и ничтожеством его молчалинской ограниченности, у меня стих за стихом сложилось другое стихотворение, которое я постарался закрепить в памяти. Утром я подсел к Розену и вместо стихотворения Тютчева сказал ему следующий мой вариант посвящения памяти декабристов:

Восстали вы на самовластье,
Но меч его вас поразил.
И царь с кровавым сладострастьем
Вам смертный приговор скрепил.
Презрев поклёп о вероломстве,
Народ чтит ваши имена,
И память ваша для потомства,
Как светлый дар, сохранена.

Вы пали жертвой мысли смелой;
Вы мнили за собой увлечь
Сердца людей России целой,
Чтоб самовластие пресечь.
Отвага ваша надорвала
Завесу страха и оков.
И путь к свободе указала
Для страхом скованных рабов.

Когда-то Тютчев с сомнением
Вас в безрассудстве укорял,
И вам бесславное забвенье
Навек в потомстве предрекал.
Плохим пророком оказался
Певец безмолвия и льда!
Завет его не оправдался.
От «льда» его нет и следа.

А память ваша средь народа
Пышней, чем прежде, расцвела.
Поэзия борцам свободы
Венец бессмертия сплела.

Розен страдал сахарной болезнью и постоянно получал инсулин. На моих глазах однажды он впал в тяжёлое коматозное состояние. Вызванный врач всё же не отправил его в больницу. Один из таких приступов окончился смертью этого талантливого молодого инженера-физика.

В долгие тоскливые ночи этой тюремной осени 1938 г. часы мучительной бессонницы я заполнял иной раз составлением и закреплением в памяти акrostихов, посвященных характеристике ряда лиц, душевная ценность которых здесь передо мною раскрывалась. Я уже говорил, с каким глубоким волнением слушал я серию бесед о Лермонтове и Пушкине, о Гоголе, о Льве Толстом, Тургеневе и Достоевском большого знатока русской литературы П. Н. Беркова. Без всяких заметок и записок, в полутьме, тихим ровным голосом, с изумительной проникновенностью, в течение многих дней обрисовывал Павел Наумович литературные типы, замыслы и творчество русских писателей. Перед слушателями вставали яркие образы, созданные великанами русской и мировой литературы, которые ожили и овладевали нашим сознанием.

Помню моё радостное чувство, когда после внезапного вызова на допрос вернулся маленького роста молодой доцент, специалист по ядерной физике. У меня не сохранилось достаточно отчётливо память о целом ряде очень заинтересовавших меня тогда молодых научных работников, которые приняли участие в ведении бесед образовательного характера в такой необычной обстановке. Не помню я и фамилии упомянутого молодого физика, который был, по-видимому, доцентом Ленинградского университета. Он занимался изучением строения атомного ядра разных элементов и вопросами ядерной энергетики. У меня осталось впечатление от его бесед по этим проблемам, что это был далеко не заурядный физик, талантливый и весь захваченный открывавшимися перед ним закономерностями в связях физических и химических свойств элементов со строением атомных ядер. Без всякого карандаша и бумаги он с изумительной наглядностью строил коррелятивные графики свойств и строений ядра, раскладывая спички на подушке или одеяле. Помню, что я ему посвятил акrostих, отражавший моё восхищение сосредоточенностью и силой его ума и возмущение неожиданным перерывом научных исследований, перемещением из исследовательской лаборатории в БД. Его интересовали открывающиеся перед его пытливым умом закономерности, а не то, что именно он, а не кто-то другой, их открывает.

Другой физик, проведший серию «тихих бесед» по оптике, по устройству телескопов и об астрономических открытиях, полученных благодаря новым усовершенствованным телескопам, был крупный учёный в области оптики Дмитрий Дмитриевич Максutow. Он был новатор и изобретатель, конструктор телескопов. Он также весь был захвачен своими новыми оптическими конструкциями, но при этом, когда он излагал свои построения,

невольно чувствовалось, что его захватывает сама мысль, что это не кто-нибудь другой, а он, именно он, сделал данное конструктивное изменение и открытие.

Однажды, вернувшись с допроса, молодой доцент физик молча, не проронив ни слова, собрал свои вещи (подушку, одеяло, мешок с бельём) и вслед за тем был вызван вновь из камеры, по общему мнению, — «на волю». Тогда же и Д. Д. Максutow на несколько месяцев исчез из нашей камеры. Но оказалось, что он просто был переведён в Выборгскую тюрьму, а затем вновь возвратился в нашу камеру. Много позднее, уже после освобождения, я виделся с ним, он бывал у нас на «Полоске», и я с моей дочерью бывал у него дома на Петроградской стороне. Он вскоре получил за свои открытия в области оптики Сталинскую премию и был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Глубокое дружеское чувство унёс я к А. А. Штакельбергу, всегда выдержанному, доброжелательному. Заполняя часы томления, я обучался у него правильному произношению английских слов, так как, хотя я читал много лет все нужные мне английские труды и издания, но никогда не интересовался правильным произношением, а довольствовался чтением «на глаз». Александр Александрович много раз говорил мне на память стихи Байрона, и я запоминал их строфу за строфой. С его слов я выучил наизусть поразительно подходившее к нашему положению трагическое стихотворение А. Толстого о Василии Шибанове. Так и до сих пор сохраняется оно в моей памяти, как напоминание о мучительном беспросветном пережитом пребывании в БД. Чем мог навлечь на себя А. А. Штакельберг тяжёлую напасть испытаний в БД? Сколько я могу теперь понять, — тем, что среди зоологов всего света он был известен как надёжнейший знаток и специалист по отряду насекомых, к которому принадлежат мухи. И к нему постоянно обращались с запросами исследователи из различных стран по поводу установления новых открываемых видов и разновидностей двукрылых мух. Его большая и постоянная корреспонденция этого рода могла возбудить подозрения, и на всякий случай его из лаборатории и музея Академии наук СССР переместили на долгий, более чем годовой срок, на «испытание» в БД. Перед тем, как попасть в нашу камеру, А. А. много месяцев провёл в более изолированной камере, где он сидел вдвоём с профессором ГИДУВа терапевтом Е. И. Цукерштейном. Из рассказа А. А. я узнал, что проф. Цукерштейн не только хороший клиницист по внутренней медицине, но и широко образованный человек.

Не могу не вспомнить ещё об одном знакомстве моём в камере БД. Моё внимание привлёк сквозившей в каждом слове его «тихой беседы» любовью, преданностью своей науке — физиологии молодой физиолог, если не ошибаюсь, один из ассистентов И. П. Павлова по кафедре физиологии в Военно-медицинской академии — А. В. Загорулько. Я имел много вынужденного досуга, чтобы близко познакомиться с этим молодым выдающимся экспериментатором и был очарован его душевной чистотой и правдивостью, его общественной направленностью и глубокой связью с научными исканиями, которые составляли неотделимую часть его интимного внутреннего мира. Когда прошли и для него мрачные дни испытаний, и он вер-

нулся к научной работе в Институт физиологии АН СССР, он вспомнил обо мне и навестил меня на «Полоске», а впоследствии в дни моего 85-летнего юбилея обрадовал меня дружеским приветствием.

Помню, как заинтересовала меня беседа об образовании, составе и жизни почвы, проведённая научным сотрудником Института почвоведения АН СССР Григорьевым. Он очень давно уже находился в заключении, во всяком случае — больше года, и производил впечатление человека малообщительного, замкнутого. В часы, когда все в полудремотном состоянии плотно сидели на своих местах на скамьях, Григорьев одиноко ходил взад и вперёд по среднему проходу от обеденного стола — через всю камеру — до унитаза и обратно. Мне не удавалось познакомиться с ним, но из его лекции («тихой беседы») у меня составилось впечатление, что он серьёзный исследователь в области изучения почвы. Когда уже в период начавшегося пересмотра «дел» какой-то контролёр в присутствии тюремного начальства опрашивал в камере каждого заключённого, сколько времени прошло после ареста, и когда был последний допрос, Григорьев с невозмутимым спокойствием сообщил, что сидит уже давно (кажется более двух лет), но ещё ни разу на допрос его не вызывали. Это вызвало изумление даже у привыкшего ничему не удивляться дознавателя. Он сделал себе какие-то пометки о Григорьеве. В ту же ночь я слышал лязг открывающейся двери и крик тюремного надзирателя: «Григорьев, к следователю!». Но и после этого ход «дела» Григорьева не ускорился, он продолжал своё безмолвное существование среди нас и регулярное передвижение по среднему проходу камеры. Я так и не знаю о дальнейшей его судьбе, когда и как вернулся он к своим исследованиям и изучению биологических процессов в почве.

Не помню я фамилий целого ряда главных инженеров различных заводов, на более или менее продолжительные сроки попадавших в нашу камеру. Один из них, имевший на скамье место недалеко от меня, крепкий жизнерадостный человек, не знавший решительно никакой за собой вины, мечтал, чтобы поскорее, куда угодно, хоть в Магадан, его сослали, только бы иметь возможность видеть восход солнца, лесные или степные дали, а то он весь отдался заводу и не имел времени вкушать жизнь, не бывал в кино, никогда не ездил отдыхать... Он знал только одну задачу — поднять завод. А теперь он был бы умнее: ходил бы в театры, не пропускал бы новых фильмов, одним словом, полноценно жил.

К периоду наиболее частых поступлений в нашу, до крайнего предела переполненную камеру (октябрь–ноябрь 1938 г.) всё новых обитателей, относится памятное мне появление главного инженера какого-то завода с необычной, а потому и запоминающейся фамилией — Нищий¹. Это был человек немолодой. Вечером он так громко стонал, что соседи его стали вызывать тюремного надзирателя и просить вызвать врача и спешно отправить стонущего и плачущего больного в лазарет. Проходили, однако, часы, а никакого врача не присылали. Зная, что я врач по образованию, товарищи

¹ Это был главный инженер малого завода им. Ворошилова Остехбюро. Его действительно били по голове ключами, он умер от менингита. См.: *Эфрусси Я. И.* Кто на «Э»? М., 1996. С. 91.

попросили меня посмотреть больного. Инженер Нищий был в сознании. Он сообщил, что при утреннем допросе «следователь» сильно бил его по голове и в грудь и что стонет он от сильной боли в груди. На мой вопрос, не было ли рвоты, он отвечал отрицательно. Мне казалось, что он не успокоился ещё от сильного нервного потрясения. Кое-как соседи по скамье потеснились, и больного удалось уложить на ней и окружить возможным в таких условиях вниманием. Ему давали тёплое питьё. Крови при кашле не было. Всю ночь он не терял сознания, горько жаловался на судьбу, говорил, что не знает за собой никакой вины, всегда работал добросовестно. К утру он потерял сознание, на вопросы не отвечал. Врач явился позднее, когда больной уже не обнаруживал никаких признаков жизни. Было вызвано тюремное начальство. Многие заключённые, несмотря на угрозы, называли следователей убийцами, просили унести тело погибшего из камеры. Только через несколько часов, наконец, тело унесли. Нет нужды говорить о тяжёлом угнетённом состоянии подавленности, близкой к отчаянию, в котором в тот день были заключённые.

На некоторый срок меня как-будто забыли, к «следователям» не вызывали. Среди заключённых передавались какие-то смутные слухи об устранении Ежова и о назначении в Ленинград нового начальника ОГПУ. Люди жадно желали и ждали смягчения обстановки и облегчения своей участи. Но прежние приёмы «следователей» оставались без изменения. В этом я убедился, когда как-то утром взглянул на исполозованную кровоподтёками спину вновь помещённого в нашу камеру врача А. А. Исаева. Его я знал ещё по работе по оказанию помощи больным и раненым воинам в 1916–1917 гг. Вернувшись с допроса, А. А. Исаев обмывался, сняв сорочку и обнажив свою спину до пояса. Было жутко и больно видеть на его спине следы кровавых измывательств. «Неужели и вас?» — невольно вырвался у меня вопрос. «Ремнём», — ответил он.

В конце зимы возвратился от «следователя» один молодой военнослужащий с распухшим от побоев лицом и кровоподтёками. В период, когда особенно оживились разговоры об изменении в благоприятную сторону тюремно-следовательского режима, мы в нашей камере были свидетелями фактов прямо противоположного рода. К нам был помещён юноша, арестованный по подозрению в участии в какой-то подпольной организации. Под вечер его взяли на допрос. Всю ночь на нём его избивали палкой. В камеру утром его не привели, а принесли. Он лежал настолько беспомощным, что мы отпаивали его чаем, а вечером его опять увели на допрос...

К концу 1938 г. как будто заметно стало какое-то смягчение обстановки. Разрешили раз в месяц заказывать, покупать за счёт тех денег, которые были по описи взяты при заключении в БД, на определённую сумму — булку, сахар, колбасу, лук и чеснок. Но в то же время с особой тщательностью производились поголовные обыски во всей камере — разыскивались и отбирались иголки, деньги, карандаши, всякие ремешки, стёкла и пр. Один раз обыск носил особенно brutальный характер. Часа в два ночи в камеру зашло значительное число надзирателей. Приказано было всем встать и, не одеваясь, выйти в коридор. Из коридора без всякой одежды нас ввели в пустую камеру, где приказали снять даже нижнее бельё, и тюремные охранники

ки подвергли каждого так сказать телесному обыску: заставляли раскрыть рот, осматривали и ощупывали всё тело, сопровождая всё это грубыми окриками. Только через несколько часов вернули нас в камеру, где все наши вещи и скудные постельные принадлежности валялись в беспорядочных кучах после «осмотра» их в нашем отсутствии. Никаких объяснений или хоть слухов о причинах, вызвавших эти унижительные процедуры, ни у кого не было.

Потом наступило заметное смягчение надзора. Тогда по почину нескольких физкультурников из числа товарищей по камере была организована по утрам, после того, как камера была нами убрана и скамейки расставлены по местам, «зарядка» гимнастикой с маршированием и бегом. По команде одного из бывших военных спортсменов или инструкторов по физкультуре, имевшихся среди нас: «На зарядку становись!», подавляющее большинство обитателей камеры становилось в ряд; открывались при этом все форточки, и проделывался весь цикл гимнастических упражнений. По возрасту я был, кажется, самым старшим из числа тех, кто аккуратно принимал участие в организованной коллективной зарядке. Один-два раза надзиратели входили в камеру и, угрожая всякими карами, требовали немедленного прекращения занятий, но требование это уже не было столь настойчивым, чтобы абсолютно и надолго выполнялось. Через день-два зарядовая гимнастика в строю возобновлялась.

После нового года было несколько случаев вызова из камеры «с вещами», относительно которых у нас складывалось мнение, что дело шло об освобождении. По вечерам теперь уже систематически проводились «тихие беседы». В камере оказался один пушкинист, мастер художественного слова. Несколько вечеров он читал нам наизусть такие крупные произведения, как «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Медный всадник». Меня поражала память и подлинно художественное чтение этого мастера слова. Я познакомился с ним и много часов днём слушал в его исполнении стихи Пушкина. Некоторыми из них, например — «Погасло дневное светило», «На море синее вечерний пал туман» и т. п. я даже обогатил свою память. Но, к сожалению, я не удержал в памяти ни имени, ни отчества, ни фамилии этого молодого, хорошо воспитанного и образованного человека. К счастью, его не долго держали в БД. Через несколько недель он был вызван «с вещами», по общему убеждению для выхода на волю.

В «тихие вечерние часы» его заменил преподаватель (профессор) танкового дела из военной академии, довольно долгое время совершенно незаметно занимавший место на одной из скамеек в тёмном углу камеры. По просьбе поддерживающих «тихие часы», он прочитал сначала несколько лекций о роли танковых частей в современном военном искусстве. А когда в камере не стало пушкиниста, он начал читать наизусть прозу Пушкина. С истинным умением, я бы сказал — проникновенно, просто и задушевно прочёл всего «Арапа Петра Великого». Я думаю, никакой артист не мог бы лучше прочесть этот замечательный образец пушкинской прозы. Подлинное величие Петра Великого в его истинно артистическом, совершенно лишённом внешних обычных сценических приёмов, чтении обрисовывалось с захватывающей силой... В следующие вечера так же мастерски про-

читал он «Капитанскую дочь», затем «Метель» и «Барышню-крестьянку». Я не знаю, насколько дословно говорил он без суфлёра и печатного текста эту поэтическую прозу Пушкина, но впечатление оставалось, что слушаешь чтение томов прозы. Как память может хранить такие большие произведения! Один вечер был заполнен им чтением (также наизусть!) «Хаджи-Мурата» Льва Толстого. Прошло с тех пор много лет, но у меня живо встаёт воспоминание, как будто я не слышал чтение «Хаджи-Мурата», а видел этот персонаж на сцене или в натуре.

Когда запас добровольных участников «эстрадных» выступлений был исчерпан, организаторы «тихих бесед» стали настойчиво обращаться к другим обитателям камеры с предложением поделиться рассказами из своей жизни или иным подходящим материалом. Я несколько вечеров занял изложением вопроса об удлинении средней продолжительности жизни, о том значении, которое этот вопрос приобретает в условиях открывающихся в социалистическом обществе возможностей и перспектив по улучшению медицинского обслуживания, предупреждению и лечению болезней, охране детства. Кроме бесед по вопросам специальной области моего изучения, я два или три вечера посвятил рассказам о наиболее интересных происшествиях, свидетелем которых я был за мою уже и тогда долгую жизнь.

После довольно продолжительного перерыва опять начались вызовы меня к «следователю». На этот раз был опять новый дознаватель. Держал он меня каждый раз довольно долго. Но к истязаниям, к бессмысленным побоям и брани не прибегал. Иногда мне даже казалось, что ему было как-то неловко, точно он совестился сам, задавая совершенно нелепые вопросы. Он, по-видимому, собрал от своих осведомителей во 2-м Ленинградском медицинском институте и в Горздраве самые разнообразные слухи и сведения о моих лекциях, об исключительно большом уважении, с которым ко мне относились студенты. Он спрашивал меня, почему же против меня выставляются обвинения? «Скажите, какие, и я покажу вам их вздорность, — отвечал я. — До сих пор ни одного конкретного указания мне не было сделано».

На следующую ночь — опять вызов, Всё тот же вчерашний следователь, но в комнате стоит какой-то человек. «Знаете ли вы этого человека, когда и где вы его видели?». Я внимательно взгляделся в него: «Нет, я не помню, чтобы когда-либо видел этого человека». Его называют по фамилии, которой я также никогда не слышал. Да и он заявляет, что тоже не видел меня никогда. Что мою фамилию он, очевидно, приписывал другому лицу. Этого заклочённого уведят, а вместо него вводят немолодого, на вид болезненного и запуганного человека. Следователь спрашивает, знаю ли я вошедшего. Внимательно всмотревшись, я решительно заявляю, что не знаю его и никогда раньше не видел. Тогда следователь читает собственноручные показания приведённого, что в первые годы после Октябрьской революции, в 1918 или в 1919 г., он видел меня (называется моя фамилия, имя, отчество) среди выступавших на контрреволюционном собрании, на Каменном острове. На вопрос следователя приведённый с каким-то запуганным видом подтверждает, что показание писано им собственноручно, и он подтверждает его правильность. Я повторяю, что на Каменном остро-

ве ни на каких собраниях не был. На мой вопрос, знал ли допрашиваемый меня до того и встречал ли когда-нибудь после того, приведённый отвечал сбивчиво. Я ещё раз настойчиво повторяю, что ни на каких собраниях на Каменном острове не бывал. Следовательно как будто по какому-то делу на время выходит из комнаты. Приведённый на очную ставку подходит ко мне и умоляюще убеждает меня пожалеть его и подтвердить записанные показания. Ведь за это дадут какие-нибудь 5 лет, он готов идти на что угодно, только бы кончились все его здешние мучения. Всё равно, говорил он, и вас будут здесь держать, пока не будет составлено какое-нибудь обвинение. Вошёл следователь. Опять тот же вопрос и такой же мой категорический отрицательный ответ, который я тут же подтвердил письменным заявлением. Доносчика уводят, а на смену ему вводят доктора С. А. Дружинина, санитарного врача Петроградской стороны, жившего на Удельной. Он года два или три был моим добровольным сотрудником по устройству Отдела коммунальной и социальной гигиены Музея города. По моей просьбе он охотно занимался подготовкой наглядных экспонатов по химическому и бактериологическому контролю за питьевой водой.

«Вы знакомы?». «Да, разумеется». Мы радостно жмём друг другу руки. «Подтверждаете ли вы», — задаётся вопрос доктору Дружинину, — «что З. Г. Френкель критиковал в разговорах с вами советское правительство и партию ВКП(б)?» Доктор Дружинин с весёлой усмешкой отвергает это: «Что за вздор! Никогда ничего подобного не было...». «Но, может быть, вы слышали, что в разговорах с другими лицами были у З. Г. Френкеля недоброжелательные выпады против партии и правительства?» Доктор Дружинин: «Что за чушь. Ничего подобного не было». После подписания протокола об этой очной ставке меня уводят в камеру. Через несколько месяцев, когда доктор Дружинин после выхода из БД пришёл навестить меня, как всегда полный бодрости, он с неисчерпаемым юмором рассказывал об этой очной ставке, на которой, по его словам, я слишком углублялся в философию, утверждая, что критика отдельных мероприятий может способствовать устранению случайных ошибок и совсем не возбраняется и т. д. А когда меня увели в камеру, то ответы ему на все эти соображения были сформулированы следователем в форме обычной кулачной расправы.

Спустя несколько дней ночью я опять был вызван к «следователю». На этот раз состоялась очная ставка с Андреем Григорьевичем Малиенко-Подвысоцким. Он решительно и твёрдо отрицательно отвечал на все вопросы следователя, не слышал ли он от меня критических замечаний и выпадов против советской власти и по поводу проводимых ею мероприятий? Когда я после бесконечного повторения и настаивания вновь и вновь со стороны следователя на этих вопросах указал, что при разборе планировки города или вопросов строительства и благоустройства я мог отмечать неудачные и неправильные решения и обосновывать необходимость устранения недостатков, необходимость учиться на выявлении ошибок, учиться, чтобы лучше работать на пользу поставленных партией и правительством задач, Андрей Григорьевич заявил, что он ни разу не слышал в моих выступлениях и высказываниях никаких намёков на антисоветские мысли. Андрея Григорьевича увели. С невыносимой остротой я почувствовал бес-

смысленность трагизма, всего, что развёртывалось только что перед моими глазами: Андрей Григорьевич — энтузиаст, всеми своими помыслами преданный социалистической революции, зачем он томится и подвергается мучительным допросам, очевидно, как и я, в течение уже многих месяцев?.. Мне стало невыносимо тяжело, и я почти не владел собой, с горечью неудержимо повторял это в лицо следователю, хотя и понимал полную бесцельность своих слов... Что могло дать метание бисера перед свиньями...

«Следователь» не ответил мне обычной бранью и побоями, а предложил мне написать и подписать мои ответы на вопросы, поставленные мне при очной ставке, а затем распорядился отвести меня в камеру.

Проходили дни и недели, опять наступил длинный перерыв в вызовах меня на допросы. Постепенно я переключил свой интерес на восприятие только того, что непосредственно было вокруг меня в изолированной от всего мира камере с её населением, несколько поредевшим и в то же время подновившимся новыми обитателями.

Меня заинтересовал пожилой, скорее даже старый румын, очень мало понимавший русскую речь и с трудом умевший высказать по-русски занимавшие его мысли. Несколько лучше он понимал по-немецки. Он исходил родную Румынию, стремясь найти поддержку у трудового народа своим взглядам на причины нужды и угнетения трудящихся. Эти причины он видел в том, что люди не получают правильного воспитания и образования в общих школах. В таких школах все должны обучаться не только грамоте, но и основам социальной этики, пониманию и усвоению учения об общественном долге, о добре. Христианство, по его мнению, устарело, не способно по своему содержанию руководить людьми в современных условиях. Он был хорошо знаком с учением Льва Николаевича Толстого, но и это учение его не удовлетворяло. Оно не разрешало основного вопроса, как на деле, реально, создать действительные предпосылки для того, чтобы все люди имели равные возможности и условия, чтобы жить «трудами рук своих» в организованном сотрудничестве и содружестве с другими людьми. Его воодушевили вести о широком размахе и успехах колхозного строительства в СССР после 1919–1933 гг. Чтобы ознакомиться практически с колхозами и колхозным строем, он ходил по Украине, был в Московской области, побывал в лучших колхозах Ленинградской области. С горечью он рассказывал, что люди в колхозах не проникнуты пониманием значения общественной нравственности, не стоят на том высоком уровне уважения к личности, к правам своих сотоварищей по коллективному хозяйству, не проникнуты пониманием добра и правды, которые должны связать людей в общем труде и во всей построенной на коллективных началах жизни. Главное, чего не понимают и что должны и, скорее всего, могут понять люди в социалистической стране, это то, что непременно в школах нужно прочно поставить обучение пониманию добра и зла, т. е. усвоению хорошо разработанной системы взаимоотношений и поведения людей общества, построенного на основах правды, честности и уважения к человеческому достоинству всех его членов.

Я внимательно выслушивал его рассуждения и речи, иногда довольно путанные и всегда проникнутые проповедническим духом. В них я улавливал

следы старческого ослабления критического познания, некоторые элементы какой-то простонародной религиозной веры в высшую силу «правды и добра», но, во всяком случае, я не мог себе объяснить, за что и зачем находится в БД этот старик — искатель правды на земле. Его отношение ко всему, что он мог наблюдать и испытать в БД, было созерцательным и совершенно лишённым даже самонаименованных намёков на обличение. Я ни разу не слышал от этого старика жалоб на постигшую его достаточно горькую участь.

Долгое время на ночь я получал место для сна на верхнем ярусе скамеек, которые особым способом составлялись в два яруса, чтобы каждый мог хотя бы во сне вытянуть свои ноги: одни — на полу, другие — на первом ярусе скамей, а третьи — на втором. Рядом со мною было отведено место одному из новых обитателей нашей камеры. Это был человек лет сорока пяти. Когда советский строй окончательно окреп и твёрдо установился после успешно законченной первой пятилетки восстановления промышленности, у нас началась вторая пятилетка — социалистической реконструкции хозяйства. Многие эмигрировавшие ещё задолго до революции в США евреи вернулись в СССР. Они твёрдо верили в установление в нашей стране общественно-политического равенства всех граждан, независимо от рода и племени. Кое-кто из бежавших от национального угнетения и несправедливости, от нищеты и политических преследований там, в США, во время благоприятной конъюнктуры выбились из нужды, устроились в качестве мелких ремесленников, имели свою слесарную или починочную мастерскую, обзавелись постепенно набором инструментов или даже штамповочным или точильным станком. Иные из круга таких еврейских эмигрантов, принадлежавшие раньше к революционным подпольным социал-демократическим кружкам, считали, что они по своим убеждениям должны вернуться в свою прежнюю родную страну и включиться в работу по строительству социализма. Им рекомендовалось при возвращении привозить с собою все свои инструменты и все имевшиеся у них орудия производства.

К числу таких вернувшихся по зову в СССР со всем своим оборудованием из США евреев-эмигрантов принадлежал и мой сосед по ночлегам. Прежде чем заснуть, он каждый вечер вспоминал и рассказывал мне о своей тяжёлой жизни до эмиграции, об участии в одном из городов черты оседлости в подпольном революционном кружке; об удачном побеге через границу, о долгих скитаниях, пока в Гамбурге не смог сесть на корабль для эмигрантов. Об очень тяжёлых годах в Америке, когда ему приходилось выполнять всякую работу, какую он только мог найти. Наконец, он устроился мелким ремесленником по починке посуды и утвари, потом завёл свой токарный станок, штамповочную машину. Считал себя настолько обеспеченным, что выписал к себе всю семью. Но когда пришла весть о полной победе пролетарской революции в России, он решил вернуться на родину. Здесь он вступил в производственный кооператив, отдал в него всё привезённое с собою своё оборудование. Когда он попал в БД, ему это казалось непостижимым недоразумением. Он молил и плакал перед «следователями» и тем самым ещё более ухудшал своё положение. Постоянно мучила его мысль о семье. По его словам, в такое же положение, как и он, попали и некоторые другие вернувшиеся из эмиграции члены производственного

кооператива. Я не знаю, какая судьба постигла в дальнейшем этого надломленного постигшей его бедою человека.

Проходили первые месяцы наступившего 1939 года. После довольно длительного перерыва я был вновь вызван к «следователю». На этот раз по первому впечатлению мне показалось, что произошла какая-то большая перемена в порядках ведения следствия. Мне предложено было сесть. Новый «следователь» производил впечатление какого-то вышестоящего начальника. Он сказал, что у него имеются показания против меня не каких-нибудь мало разбирающихся в деле людей, а вполне уважаемых учёных, даже академиков, о том, что я вёл антисоветскую деятельность, и что лучше всего будет, если я сам подробно и самокритично об этом расскажу. Я ответил решительным категорическим заявлением, что никакой противосоветской деятельности я не вёл и никаких противосоветских высказываний нигде не делал. Что, напротив, добросовестно работал по выполнению задач, лежащих на мне, как на советском служащем и профессоре. Что решительно всё, что до сих пор предъявлялось мне на допросах, было совершенно бессмысленным измышлением. Один из следователей допрашивал меня о моих разговорах с академиком И. Ю. Крачковским, но я никогда не говорил с ним и совершенно с ним не знаком. Другой следователь (Леонтьев) бил меня по лицу и угрожал разбить мне голову, заставляя сообщить, кто привозил мне голубей, но я никогда никаких голубей не держал, и это измышление я, по совести, считаю бессмысленным бредом. Я утверждаю, что и новые обвинения, выдвигаемые теперь против меня, ложны.

Много часов подряд этот новый «следователь» повторял, что у него есть достоверные показания против меня, но я вновь и вновь повторял, что это какая-то вздорная клевета и измышление. В конце концов, следователь приказал мне стоять, пока я не сознаюсь, но, не добившись моих признаний, через несколько часов приказал увести меня в камеру.

Несколько дней спустя, ночью, я был вызван на «очную ставку». За большим столом сидели человек шесть. Меня вызвали к столу, и следователь задал мне вопрос, знаю ли я сидящего в кресле и с улыбкой смотревшего на меня человека. Я взглянул на знакомое мне лицо и узнал в нём профессора Вл. Як. Курбатова. На вопрос следователя я ответил, что хорошо знаю Курбатова по совместной работе в 1919–1930 гг. в Музее города. Очень ценю его книги по истории архитектуры Ленинграда и по парковому делу. По предложению следователя Вл. Як. Курбатов, приятно улыбаясь, стал подробно рассказывать, что в Учёном совете Музея города я и профессор Щупак часто выступали с критикой мер, предлагавшихся дирекцией, и что однажды в 1920 или 1921 г. я зашёл к нему летом в Павловске и просил разрешения остаться ночевать у него, так как в Петрограде идут по ночам аресты среди интеллигенции. Но он, Курбатов, якобы отказал мне. В Музее города, в Отделе, которым я заведовал, по словам Курбатова, я собирал всякого рода материалы, не подлежащие огласке, чтобы такими материалами могли пользоваться зарубежные посетители. На мой вопрос, какие же это были материалы и какие сведения из них можно было извлечь во вред нашему государству, Курбатов указал на огромный мясной музей им. Игнатьева. На предложенный мне руководившим «очной ставкой» следова-

телем вопрос, подтверждаю ли я показания Курбатова и что я могу сказать по их поводу, я без всякого раздражения ответил, что все эти показания являются каким-то совершенно неосмысленным бредом. Я, действительно, один-единственный раз был у Курбатова в 1920 или 1921 г. в Павловске, во время экскурсии по ознакомлению с художественными памятниками Павловского парка. Курбатова я считал знатоком истории парков и поинтересовался узнать его мнение, что заслуживает подробного ознакомления в этом парке. Но ни о каком «политическом убежище» я его не просил. Это плод какой-то больной фантазии, а что касается музея им. Игнатьева, то он состоял из прекрасно выполненных ещё в 1911–1913 гг. коллекций образцов мясных продуктов, употребляемых в народном питании. Эти коллекции остались от Всероссийской гигиенической выставки. А первоначально они были экспонированы в Русском павильоне Международной гигиенической выставки в Дрездене. В Музей города они были переданы по решению Ленгорисполкома. Только болезненно расстроенная фантазия могла связать с этими коллекциями муляжей по гигиене питания какие-то бредовые подозрения.

Тут по моему адресу посыпались со стороны следователей окрики, что я оскорбляю проф. Курбатова, что я за это буду подвергнут особому взысканию и пр. «Да что же это такое?» — с изумлением ответил я. — «Все вы вместе с проф. Курбатовым обрушиваетесь на меня, совершенно ни в чём не повинного; мне предъявляются какие-то измышленные обвинения, и никто меня не защищает от оскорбительных подозрений, а когда я добросовестно отвечаю, мне угрожают!»

Старший из следователей потребовал, чтобы я извинился перед Курбатовым. Я заявил, что в мои намерения не входило оскорблять Курбатова, и я могу лишь высказать сожаление, если мои выражения оказались для него обидными... Долго ещё тянулись эти тягостные пререкания. Наконец, мне дали подписать протокол «очной ставки», в который были занесены мои заявления и ответы. После этого старший следователь обратился ко мне с предложением проститься по-дружески с Курбатовым и подать ему руку. Я заявил, что форма прощания с этим человеком — моё личное дело, и идти к нему с рукопожатием я не считаю нужным, а заставлять меня никто не имеет права.

Приведённый в камеру, я долго не мог подавить своего волнения. На следующий день я опять был вызван к «следователю». Он встретил меня словами: «Ну что, вы теперь видите, что против вас имеются показания известных почтенных учёных?». С полной откровенностью я ответил: «Да ведь вы же сами видите всю несостоятельность показаний Курбатова против меня. Он большой знаток архитектуры и паркового дела и, может быть, хороший профессор коллоидной химии, но по своим общественно-политическим взглядам он не подымается выше уровня щедринской газеты «Чего изволите». Ведь все его показания — это пустой ребяческий лепет». С тем я и был отправлен обратно в камеру.

Опять потянулись долгие дни и ночи жизни в нашей, всё ещё имевшей более сотни невольных жителей, камере, хотя скученность населения в ней заметно поредела. На время обо мне как будто опять забыли. Выносливость моего организма, по-видимому, стала падать. На руках и на груди

появилась какая-то мелкая эксудативная сыпь, говорившая о расстройстве вазомоторной системы. Мои ближайшие соседи записали меня на приём к тюремному врачу. Я был отправлен вновь в больницу на Выборгской стороне. Здесь было несколько лучшее питание. Ежедневно я стал получать облучение кварцевой лампой. Недели через две сыпь исчезла, и меня вновь вернули в прежнюю камеру.

Как всегда, неожиданно ночью меня разбудили и повели на допрос. На этот раз по какому-то незнакомому коридору я был приведён в просторную комнату, посредине которой за отдельным столом сидел, по видимому, какой-то высокий начальник, а с двух сторон, на поставленных рядами стульях, сидели несколько десятков лиц, среди которых я узнал некоторых «следователей», которые хорошо пригляделись мне во время проводимых ими допросов. Мне предложено было сесть на стул, на довольно значительном расстоянии от стола. После ряда предварительных анкетных вопросов начальник (о котором сидевший сзади меня тюремщик сказал мне, что допрос ведёт сам Гоглидзе¹) спокойным ровным голосом спросил меня, в чём я обвиняюсь и в чём состоит моё дело. В таком же спокойном тоне я отвечал, что я по совести не знаю, за что меня арестовали и в чём меня обвиняют. При первом же допросе я заявил, что добросовестно работал, как профессор, во 2-м ЛМИ и в ГИДУВе, но меня за этот ответ допрашивавший меня следователь — указал я на него рукою — избил и требовал, чтобы я собственноручно написал подробно о моей антисоветской деятельности. Но я не занимался противосоветской деятельностью, поэтому, сколько меня затем ни били, сколько ни угрожали, ничего не мог сочинить такого, что удовлетворяло бы этого следователя. Потом несколько дней другой следователь (я указал рукою на него) заставлял долгим стоянием и побоями написать, кто и откуда привозил мне голубей в Лесное, где я проживаю. Но я никаких голубей не держал, никто ниоткуда мне их не привозил и потому никакими понуждениями желаемого ответа я дать не мог. Я рассказывал обо всём этом спокойно, точно рассказывал о каком-то сне, а не о горькой для меня действительности. Подробно и с таким же эпическим спокойствием рассказал я о допросе в подвале, об «очных ставках» и о последней из них — с профессором Курбатовым, и закончил словами: «Так толком я и не знаю, по какому обвинению я арестован. Но зато я твёрдо и безусловно знаю, что я честно и добросовестно выполнял все свои обязанности советского специалиста, профессора».

Когда я замолчал, в водворившейся полной тишине начальник не в тоне официального решения или резолюции, а скорее в виде реплики на мои последние слова, но достаточно чётко сказал: «Вы свободны и получите возможность продолжать вашу профессорскую работу». Один из сидевших за мною «следователей», как раз тот, который с самого начала безжалостно избивал и истязал меня, предложил мне следовать за ним. Я полагал, что меня поведут обратно в камеру. Но, пройдя несколько переходов, он

¹ В описываемое время комиссар государственной безопасности 2-го ранга Сергей Арсеньевич Гоглидзе был начальником Управления НКВД Ленинградской области.

спустился по лестнице и передал меня тюремной страже, сделав какое-то указание. Меня привели в соседний коридор. Дойдя до последней двери в этом коридоре, сопровождавший меня приказал часовому открыть её. Меня впустили в совершенно неосвещённое помещение. Дверь за мною закрылась на засов. Я ощупью обошёл вдоль холодных обмёрзлых стен. По моему соображению, было уже 2 или 3 часа ночи, я был без пальто. Очень скоро сильно промёрз. Покрыться было нечем. От усталости хотелось прилечь или присесть. Мне стало ясно, что до утра мне не вынести холода, я неизбежно замёрзну в этом нетопленном карцере. Но ведь слова высокого начальника (Гоглидзе) пробудили у меня надежду, что меня должны освободить, а не заморозить в карцере. Я начал громко стучать в дверь. Часовой без брани объяснил мне, что до утренней смены он ничего не может сделать. Я требовал, просил его, чтобы он доложил старшему или кому-то из начальства, что меня по какому-то злому умыслу, против приказа главного начальника, заперли сюда. От холода у меня зуб на зуб не попадал. Часовой же настоятельно повторял, что он ничего сделать не может...

Я сел на пол, чтобы отдохнуть. От холода и отчаяния я громко выл. Опять стал стучать в дверь, до боли в кулаках. Мысль, что меня заморозят в отместку за мои показания, вызвала у меня какую-то стихийную решимость преодолеть создавшееся положение. Я поднялся и стал быстро ходить, чтобы согреться, и непрерывно, до полной усталости, делал гимнастические упражнения, повторяя их вновь после короткой передышки. Проходили часы. Собрал все силы, я продолжал свои движения для согревания.

Наконец застучали засовы двери, и новый часовой поставил передо мной кружку и чайник с кипятком. Ещё через час меня вывели «на прогулку», в узенький сектор, ярко освещённый утренним солнцем. Через полчаса мне принесли из камеры мой узелок с подушкой, одеялом, пальто и остатками хлеба и сахара. Мне дали возможность оправиться и умыться, а затем меня «с вещами», т. е. с узлом в моих руках повели в какое-то хорошо оборудованное помещение, в котором очень любезный молодой человек сообщил мне, что начальник госбезопасности поручил ему непосредственно доставить меня ко мне домой. Но для выхода из ДПЗ требуется выполнить ряд формальностей. Это займёт час-другой времени. Я могу располагать диваном, если хочу отдохнуть. Он любезно предложил мне помыться, выпить чашку кофе. Очень учтиво занимал меня разговором. Я подробно рассказал ему о проведённой мною ночи после беседы, на которой он, как оказалось, присутствовал, — в холодном сыром карцере, о моих физических усилиях, чтобы не замёрзнуть. Я просил его передать начальству все эти «мелочи» и особенно дать указания «следователю», который назвал себя Леонтьевым, чтобы при допросах он отказался от своих приёмов плевать в лицо допрашиваемым.

Мне было, наконец, предложено расписаться в получении отобранных при аресте частей туалета, часов, очков и других предметов, а также подписать обязательство не разглашать ничего о том, что я видел и чему был свидетелем, находясь в ДПЗ. Мы вышли через коридор и вестибюль на Шпалерную улицу (улицу Воинова) и сели в ожидавшую у подъезда просторную машину.

Трудно, пожалуй, даже невозможно, передать чувства и мысли, охватившие меня при виде Невы, открывающихся с Литейного моста перспектив далёких набережных и обрамлявших их знакомых зданий, при взгляде на синеву небесного простора. В пути я попросил сидевшего рядом со мной любезного молодого человека оказать мне помощь в возвращении мне взятых у меня при обыске нескольких десятков толстых тетрадей моих дневников, которые мне нужны для пользования имеющимися в них библиографическими заметками и извлечениями, а также рукописей подготовленных к изданию Академией наук СССР моей книжки «Об удлинении жизни и активной старости». Я получил обещание, что эта просьба моя будет выполнена. Мы проехали в Лесное с Муринского проспекта по Б. Объездной улице и остановились у калитки на Васильевской улице. Навстречу мне выбежала первой к калитке Лёля. Девять месяцев назад перед этим она бежала за извозчиком, на котором меня увозили с «Полоски», посылая мне вдогонку полные тоски и горя ободрения и обнадеживания, и теперь она оказалась первым родным человеком, которого я увидел после многомесячного пребывания в «обители печали, боли и горя». Провожавший меня «любезный» молодой человек зашёл в дом, чтобы сдать меня непосредственно с рук на руки моей семье.

Был первый день Пасхи, на столе стояли куличи, яйца и пасха. Только большим усилием воли я сумел овладеть собою... Я рассказал о вызове ночью к начальнику Государственной безопасности и обо всём, что произошло после этого. Зиночка высказала предположение, не связан ли наступивший, наконец, благоприятный поворот в моей безотрадно тяжёлой участи с её письмом в ЦК партии, которое она не доверила почте, а в результате настойчивых попыток и усилий вручила лично одному из работников Секретариата ЦК. Она разыскала и показала мне оставшуюся у неё копию этого письма. Ознакомившись с содержанием письма, я не мог отрицать, что непосредственная правдивость его содержания, если оно действительно было прочитано кем-либо из ответственных и влиятельных работников, могла сыграть спасительную роль.

Привожу дословно это письмо:

«В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

Товарищи! В ночь на 20-е июля 1938 г. арестован был мой отец, Захарий Григорьевич ФРЕНКЕЛЬ. Ему предъявлено обвинение, по словам ленинградского прокурора, в контрреволюционных действиях.

Этот арест такая невозможная ошибка и в то же время настолько жестокое оскорбление для моего отца — человека кристальной честности и всей душой, до совершенного, абсолютного слияния сроднившегося с нашей Советской Родиной и с нашей советской действительностью, — что я решила обратиться к Вам, товарищи. Помогите разъяснить ошибку, снимите жесточайше-порочащее обвинение с человека, всей своей семидесятилетней жизнью доказавшего, что для него честность, неподкупность, прямота, мужественная беспристрастность — есть сама его жизнь.

Помогите же и скорее, так как весь ужас ареста и подозрения в такой гнусности могут быть губительными для моего отца, ведь он стар и часто немощен, а удар слишком тяжёл. Представляю, как он — такой до сокро-

веннейшей глубины души правдивый и искренний — должен быть придавлен невыносимой, бесчеловечной тяжестью такого обвинения. Сама я давно кончила школу и ВУЗ, давно стала взрослой и рассматриваю и оцениваю отца совершенно объективно. Да и он, несомненно, настолько большой человек и настолько неповторимый, что никакой субъективности в оценке его быть не может. Он слишком глубок, самобытен, содержателен и до конца правдив всегда — так что даже отдалённая тень в его честности — кажется чудовищной ошибкой.

Именно только ошибкой может быть арест Захария Григорьевича. Поэтому то с такой надеждой жду, что Вы сможете это быстро разъяснить.

Ошибка со стороны, но для него это — удар! Ведь если обвинение и меры пресечения исходят от той власти, против которой борешься, как было не раз с отцом в царской России, тогда это тяжесть чисто физическая, которую надо перенести. Но когда обвинение и арест исходят от тех, кто ощущается, как свой, как родной и необходимый, — тогда они становятся настолько болезненными, настолько ужасными, что сомневаешься в самой возможности перетерпеть, пережить этот ужас.

Для моего отца вся наша советская действительность с самого начала не только принята, как существующая, но сделалась плотью и кровью его самого. Он всем своим существом и всем духовным обликом уже неотделим от нашей Родины, нашего строя и нашего правления. И при такой его сущности — ужасно, бессмысленно, тягчайше-оскорбительно предъявленное ему обвинение!

В самые первые месяцы Октябрьской революции, без какого-либо колебания или раздумывания, а просто и естественно отец стал работать только с Советской властью. У него не было перерыва в работе, как не было и обсуждения — куда и с кем идти. Весь его духовный склад подсказывал ему только одну дорогу — с Советами. Он сразу и окончательно, с 17-го года рвёт со всем, что могло ещё связывать его с прежним, дореволюционным, с друзьями по партийной работе. И он же настолько прям и твёрд в полном признании одного пути, что все колебавшиеся и раздумывавшие в те годы резко начинают отделяться от Захария Григорьевича, так как он — «красный». Для него же уже в это время ясно, что только в полной отдаче всего себя, всех своих сил и способностей одной Советской власти и в полном признании внутренней необходимости для страны твёрдого руководства единой партией — партии большевиков — только в этом может быть смысл жизни. Отец и работает с этими взглядами, отдаваясь с головой своему творчеству. Он строит в Ленинграде Отдел коммунальной и социальной гигиены Музея города, который скоро становится тем центром научной мысли по санитарии и гигиене коммунального хозяйства, куда стекаются врачи со всего Союза и где они — у отца, в его Отделе, находят знание и помощь во всех вопросах.

Сколько подлинного энтузиазма вносит отец всегда в свою работу, сколько настоящего горения и одушевления, что это всюду находит отклик, и он многих людей, может, самостоятельно и не нашедших бы себе дороги, увлекает на тот же путь — путь упорного, огромного труда, но труда ярко освещаемого и осмысленного идеями: всё — для страны, для народа, для этого строя. Это — период создания, по инициативе моего отца, Коммунальной

академии, куда съезжаются руководящие низовые партийные работники коммунального хозяйства, и где на лекциях Захария Григорьевича знакомятся с тем одухотворённым трудом, которым одним Захарий Григорьевич считает оправданной человеческую жизнь. Сколько писем, многими десятками, получал и получает отец от своих учеников с благодарностью именно за то, что он показал им «смысл жизни» и «радость советской работы». При развернувшейся в те годы, 1923–27-й, научно-педагогической работе, когда отец ведёт преподавание во многих ВУЗах, он, как всегда, как всю свою жизнь, прям и строг к себе и к своим публичным выступлениям, в которых он, — ни при каких обстоятельствах, никогда не допускает кривизны или недомолвок. Поэтому он часто в глазах большинства товарищей по научной работе, всё ещё, может быть, продолжающих выжидательную политику, остаётся слишком «левым». Это годы моего студенчества, и я как сейчас помню настороженное отношение к нему профессуры из-за слишком ясно выраженной его непартийной «партийности», из-за слишком прямо и открыто высказываемых им симпатий к новому строю.

Затем моему отцу пришлось пережить гибель его творческого детища — закрытие и разрушение созданного с такой любовью и с таким блеском Отдела коммунальной и социальной гигиены при Музее города. Это было очень тяжело и оставило в нём глубокий, незаживающий след, но, тем не менее, не уменьшило в нём любви к жизни и к своей стране, не сломало ни его энергии, ни его желания работать. Он весь отдался своей педагогической работе, одновременно проводя огромный труд над исследованием вопроса о старости. В этой области со свойственной ему глубиной Захарий Григорьевич создал совершенно новое понимание «старости» вообще и процесса старения человека, как члена общества, в частности. Соответственно вполне законченно оформившемуся у него пониманию общества, как коллектива, с тем или иным общественно-экономическим строем, им трактуется и проблема старости. Опять-таки, эта трактовка проблемы старости так нова и настолько необычна, что труд его о старости всё ещё не напечатан. Люди, лишённые его прямоты и его смелости в самостоятельной оценке всего существующего, всё боятся дать разрешение на напечатание книги — вдруг «что-нибудь не так», и они будут в ответе!

Отец не знал никогда в жизни, не знает и теперь, этого страха за себя, за своё мнение. Чем бы это ему ни грозило, он всегда честно и открыто высказывает своё мнение. В этом он стоит, несомненно, головой выше той части современной интеллигенции, которая не вышла ещё из старых, до-революционных времён. Он не взвешивает, угодно ли или неужгодно начальству и власть имущим будет его мнение, а высказывает его так, как он внутренне убеждён, что правильно.

И это было всегда одинаково: в 1914 году, призванный в действующую армию, он одел пустую кобуру и бутафорную шашку, так как всегда считал войну недопустимой. Из-за этого у него были большие неприятности. Но когда их воинская часть бежала под Сольдау, он — врач — останавливал бежавших обезумевших от страха людей. Он выдерживал выговоры, но не пользовался на фронте лошадью, пока в утомительных переходах измученные солдаты шли пешком, и сам шёл вместе с ними в рядах.

Так же и теперь: в любых общественных вопросах отец прямо высказывает своё мнение, совершенно не считаясь с тем, кому угодно так, а не иначе говорили.

Думаю, что вот это-то ровное и до крайности нелицеприятное отношение и могло создать отцу врагов, которые по недомыслию могли в смелой честности отстаивания своих взглядов увидеть мерзость преступления. Для Захария Григорьевича не существует разницы в разговоре и в обращении с самыми молоденькими из студентов-первокурсников и с самым высокопоставленным начальством из Наркомата или директором какого-либо учреждения. А такое отношение, надо признать правду, слишком ещё редко у нас и вызывает изумление, а зачастую может перейти и во вражду. Но, зная отца долгие годы в его отношениях с людьми, всегда поражаешься именно этому смелому признанию равноправия всех без исключения.

В личной жизни Захарий Григорьевич скромнен до пуританизма. Он никогда не разрешал устроить ему ни одного чествования, ни одного юбилея. Сейчас, когда люди всё ещё падки до юбилеев, до наград, до признания их заслуг, когда кругом получают ордена и звания, отец всегда и от всякого выдвижения его отказывался. Я не знаю ни одного случая в жизни, когда бы он, даже в узком семейном кругу, сказал о своих заслугах или о своих достоинствах. Личная скромность его беспредельна. А достоинств у него ведь очень много. Сила и глубина его ума ставит его в ряд с наиболее выдающимися людьми нашей эпохи и только не знающая границ скромность делает его “рядовым учёным”.

Он заслуживает исключительного внимания и по размаху и широте образованности, культурности, и по совершенно необычайной для его возраста живости восприятия и захваченности всей идущей сейчас жизнью и по полной, убеждённой слитности с существующим новым социалистическим строем.

Нет такого события в жизни нашей страны, на которое отец не откликнулся бы с живостью юноши. Выполнение плана по заготовкам, по добыче угля — волнует его больше, чем любое событие его личной жизни. И всякая наша, советская, победа радует его с глубиной, доступной только до конца преданному, до конца проникнутому пафосом современности, человеку. Дома, в семье, где человек может быть сам собой, он живёт всё теми же радостями для всей страны. Я не видела его никогда недовольным, брюзжащим, судачащим впустую. Он всегда полон буквально юной энергии, брызжущей силы и стремления работать, работать, не покладая рук, для процветания страны. Он без малейшего недовольства готов на любые личные лишения, лишь бы это диктовалось интересами общего, народного блага.

Внутреннее содержание отца, особенно трогательное и прекрасное в нём, пришедшем в послереволюционную жизнь уже давно сложившимся человеком и сумевшим не только понять и оценить, но и себя, свою жизнь соединить и сочетать с нашей действенной и творческой действительностью — совершенно, абсолютно невозможно согласовать, сблизить со всем ужасом подозрения в нечестности, в злоумышлении против его страны!

Только поэтому это чудовищное, выдвинутое против отца по несомненному заблуждению обвинение, даёт мне смелость обратиться к Вам и взывать к Вашей защите.

Очень прошу сообщить мне, получили ли Вы моё настоящее письмо и что возможно тут сделать, когда произошло такое роковое недоразумение. Ничем иным арест моего отца не может быть, в этом порука — вся его жизнь, от начала и до последнего, настоящего дня.

Зинаида Захарьевна ШНИТНИКОВА (урожд. ФРЕНКЕЛЬ)¹.

¹ Разумеется, никакого ответа на это своё с точки зрения сегодняшних наших знаний о тех событиях наивное письмо Зинаида Захаровна не получила. Одновременно с Захарием Григорьевичем был арестован и её муж, замечательный учёный, профессор, ученик и соратник академика В. И. Вернадского — Арсений Владимирович Шнитников, крупнейший специалист по многовековым и внутривековым ритмам земли. Обладающая энергичным и решительным характером, Зин. Зах. не могла пассивно реагировать на необоснованный арест отца и мужа. Она деятельно и бесстрашно боролась за их освобождение: звонила, ездила в Москву, писала письма во все инстанции. Наконец, она написала и приведённое в воспоминаниях Захария Григорьевича письмо в ЦК партии и сумела проникнуть в здание ЦК (что вызывает сомнения) и передать это письмо лично в руки сотруднику Секретариата. Однако предположение Захария Григорьевича, которое разделяли почти все члены его семьи, о том, что именно такое убедительное ходатайство могло послужить причиной его освобождения, вызывает большие сомнения. Действительно, тогда все домашние наивно верили, что можно было с помощью таких призывов к справедливости вытащить людей из кровавой мясорубки массовых репрессий. Это в то-то время, когда даже у большинства членов Президиума ЦК (у Калинина, Молотова, Ворошилова, Будённого и др.) сидели жёны, дети и другие члены их семей. В действительности, причины освобождения З. Г. Френкеля, А. В. Шнитникова, их соседа — профессора, преподавателя политэкономии Сергея Александровича Оранского и других их знакомых крылись в другом.

Они стали понятны лишь после того, как перестройка открыла доступ к секретным документам партии и правительства того времени, которое теперь можно назвать не просто «культом», а «террором» личности Сталина. Начало 1938 явилось апогеем развязанного им насилия, когда оно уже совершалось не в порядке каких-либо кампаний (против троцкистов, бухаринцев и др.), а по инерции, даже, можно сказать, по стихийно возникшей закономерности: в органы НКВД потоком шли доносы от карьеристов, стремящихся занять лучшие должности, отправив в застенки тех, кто их занимал; многие арестованные, не выдержав истязаний, оговаривали и себя, и знакомых, сослуживцев, порождая тем самым «соучастников» и т. д.

К середине 1938 репрессии достигли таких масштабов, что Сталину стали докладывать о катастрофическом положении с кадрами в хозяйстве, в армии и науке. Именно поэтому он решил несколько ослабить репрессии, свалив, как всегда, ответственность за них на непосредственных исполнителей и, в первую очередь, на Ежова и его подручных, обвинив их в «перегибах», «злоупотреблениях» и «превышениях власти». Он назначил заместителем Ежова Берию, который уже с сентября-октября 1938 г. стал фактически управлять аппаратом НКВД, а с декабря Ежов был окончательно отстранён от должности; в органах началась чистка ежовских кадров. Именно поэтому ни Захарий Григорьевич, ни Арсений Владимирович не успели получить никаких приговоров, не были осуждены, их «дела» были прекращены на стадии следствия. А в марте 1939 состоялся XVIII съезд партии, после которого был освобождён не только ряд учёных, конструкторов, военных, находившихся под следствием, но и реабилитированы некоторые невинно осуждённые люди. И действительно, одновременно с Захарием Григорьевичем и Арсением Владимировичем домой вернулись и Сергей Александрович Оранский, и другие их знакомые. Так что дело было совершенно не в письме Зинаиды Захаровны.

После прочтения этого письма вызванное им чувство отразилось в написанном акростихе:

Зловеще над нами потёмки сгустились,
И мы в непроглядную мглу погрузились.
Нет мочи, нет силы сносить униженья...
Отбросивши страх, позабыв все сомненья,
Через рвы и сквозь сети густых заграждений
К несбыточной цели ты будешь стремиться,
Аварий стихия не может страшиться!

Насколько я мог позднее узнать обстоятельства, предшествовавшие моему освобождению из Большого Дома, благоприятную роль сыграли показания и отзывы обо мне ряда лиц, которых вызывали для дачи сведений обо мне в БД, в том числе — особенно директора Научно-исследовательского института коммунального хозяйства И. М. Маврина. Он очень хорошо знал меня по продолжительной совместной работе, я был его заместителем по научной части. Так же объективно отзывались обо мне профессора К. Н. Шапшев¹, Н. К. Розенберг и др.

Потребовалось значительное время для того, чтобы хотя бы в какой-то степени зажили физические и моральные раны, нанесённые мне во время пребывания в Большом Доме. Тем не менее, постепенно жизнь вошла в своё привычное русло, и я вернулся к своим прерванным занятиям и интересам.

В воспоминаниях, относящихся к 1939 г., расскажу об удовлетворении, оставшемся у меня от подробного ознакомления в начале августа с крупным пригородным совхозом в Новой Деревне, сельскохозяйственные успехи которого были основаны на рациональном использовании городских нечистот и мусора. Отправляясь для осмотра полей, ягодников и компостных штабелей этого совхоза, я взял с собой моего тринадцатилетнего внука Котика Самофала, сына моей младшей дочери и её безвременно умершего мужа Саввы Артёмовича Самофала. Подсознательно казалось мне, что он будет продолжателем жизненного дела его замечательного отца в познании биологических закономерностей растительного мира.

Более 900 га посевной площади и ягодников — чёрной смородины и малины были в прекрасном состоянии. Компостирование осуществлялось в виде простого складирования городского мусора штабелями в 1–1½ метра с прикрытием их до созревания землёй. Перепревший мусор использовался вместо навоза для обогрева парников. В совхозе имелись два посёлка для рабочих. К сожалению, обсадка дорог фруктовыми деревьями совхозом не была осуществлена. Зимой на каждый гектар выгружалось по 1000 т фекалий. Это обеспечивало превосходные урожаи капусты, свёклы, моркови. Котик с большим интересом осмотрел вместе со мною все стороны и отрасли этого хозяйства. Особенное внимание его привлекли боль-

¹ Шапшев Константин Николаевич (1885–1942) — профессор кафедры гигиены, зам. ректора Пермского университета; с 1934 одновременно работал в ленинградском ГИДУВе.

шие участки земли, занятые кустами чёрной смородины с кистями крупных ягод, величиной с вишню.

Я редко посещал кино, поэтому у меня осталось в памяти, что вечером в тот же день я со старшей внучкой Любочкой (дочерью моей средней дочери Лидиньки) смотрел на экране «Сорочинскую ярмарку» и был изумлён высокой техникой цветного фильма.

В тот год, в июле–августе–сентябре, по утрам я много, больше, чем всегда, работал в нашем придомовом саде и огороде. Больше, чем всегда, я был во власти непреодолимого желания оставаться под открытым небом, работать, копать, обрабатывать землю.

В августе в течение двух недель я пробыл в Москве, изучая новое крупное строительство. Осматривал построенную новую Ленинскую библиотеку, перестроенные два квартала улицы Горького (от Охотного ряда и гостиницы «Москва» до площади Моссовета). Пешком обошёл также и другие районы города, где велось строительство, связанное со сломом домов в старых кварталах — вплоть до площади Маяковского. Осмотрел площадь, где раньше был Страстной монастырь, а также весь район Останкина. Обошёл все задворки строительства Сельскохозяйственной выставки.

При первом общем её осмотре мне показалось, что очень слабо организованы посещаемость и обслуживание посетителей. Не было ещё общего путеводителя, каталога, сколько-нибудь путного плана размещения экспозиций. Не было возможности изучать выставку для командированных: не существовало никаких сезонных или недельных входных билетов. Зато имелось слишком много дорогостоящего «художественного оформления». Потом я несколько дней целиком посвятил осмотру Сельскохозяйственной выставки и всё более поражаюсь неисчерпаемым её содержанием. Поучительны были на ней ветряные двигатели Херсонского завода; автоматические управления гидроэлектростанции; павильон Сибири с железнодорожным поездом на ходу; узбекистанские фруктовые сады; конезавод Курской области; передвижное, дневное кино; подвесная дорога для доставки корма скоту; автомашинны с газогенераторами в отдельном павильоне механизации; амурская, сибирская и арктическая флора.

Между прочим, ещё тогда я отметил, что следовало бы на выставке организовать специальные отделы по сельскохозяйственному использованию городских и других отбросов, отвести целый павильон для показа итогов анализов, моделей, планов устройства парниковых хозяйств на помойном мусоре; показать поля запахивания и закапывания; компостирование мусора и отбросов; использование всех видов ила в сельском хозяйстве. Нужно было устроить специальный отдел сельского водоснабжения: устройство сельских водопроводов, каптаж ключей, артезианских скважин, запруд; показать механизмы для водоснабжения, гидравлические тараны и их применение для сельского водоснабжения, показать колодцы всех видов и др. Показать также жилищное строительство в колхозах и совхозах. Подобно яслям (имевшимся на выставке) следовало бы построить участковые сельские лечебницы с огородом, садом, полями орошения и пр. Следовало бы добавить особый отдел зеленых насаждений и зелёных массивов в городах и показать в нём: 1) фруктово-ягодное использование городского озелене-

ния; 2) огородно-овощное, тепличное и оранжерейное хозяйство городов, в том числе — цветочное; 3) лесопарки вокруг городов; 4) механизацию работ в городском садово-парковом деле; 5) борьбу с вредителями; 6) озеленение школ, лечебных и других учреждений; 7) городские питомники.

В этот же период я осматривал посёлок для выселенцев из реконструируемой Москвы, сады и огороды дачников у станции Удельной Московско-Казанской железной дороги. Осмотрел новые центральные площади и вновь построенные мосты — Москворецкий, Устьинский, Б. Каменный, набережные в Замоскворечье и другие вновь построенные набережные. Сильное впечатление оставила поездка на пароходе по Москве-реке и по каналу до Химок и Химкинского речного вокзала.

В 1939 г. на одном из заседаний Ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического общества некоторые его члены — А. Я. Гуткин¹, Р. А. Бабаянц, А. И. Штрейс, М. Л. Иоффе и др. — подняли вопрос о том, чтобы отметить на специальном заседании Общества истекавшее в конце года моё 70-летие (как председателя Общества). Я просил правление и Общество не поднимать этого вопроса и вообще не отмечать никакой юбилейной даты, связанной с моей деятельностью. Я настаивал на этом моём желании в особенности потому, что меня ещё не оставили, ещё свежи были воспоминания, связанные с пребыванием в Большом Доме, закончившимся только 9 апреля 1939 г.

Несколько месяцев спустя, знакомясь в правлении Всесоюзного общества гигиенистов в Москве, работавшем под председательством Н. А. Семашко, с материалами заседаний правления ленинградского отделения Общества, я обратил внимание на запротоколированное моё нежелание устраивать юбилейное чествование. Но, тем не менее, мне было приятно получить по поводу этого личные письма от Николая Александровича Семашко и Альфреда Владимировича Молькова. Мне кажется, имеют интерес следующие слова из письма Н. А. Семашко:

«...Из протокола я узнал о Вашем 70-летию. Горячо поздравляю Вас и желаю Вам “остаться самим собой до тех пор, пока в состоянии работать и жить”. От души желаю, чтобы это продолжалось многие и многие годы. Крепко жму руку. Н. Семашко. 28.П.1940 г.».

Альфред Владиславович Мольков в своём письме от 29.П.1940 г. писал: «Глубокоуважаемый Захар Григорьевич! Узнав из присланной стенограммы о том, что Вам стукнуло (увы!) 70 лет, я не могу отказать себе в удовольствии выразить живейшую радость, что указанный рубеж Вы переходите в состоянии далеко не исчерпанных жизненных сил, бодрости, живейшего участия в советской стройке, причём окружённый общей любовью и уважением.

Радует меня и то, что Вы ни на иоту не изменили своей установке свободного и независимого мыслителя и общественного деятеля, и что Вы учите окружающую Вас молодёжь самокритике и призываете её к рациональному использованию дореволюционного и зарубежного опыта.

¹ Гуткин А. Я. — профессор, зав. кафедрой школьной гигиены в ленинградском Санитарно-гигиеническом институте, занимался проблемами благоустройства детских учреждений.

Вот это обстоятельство, что именно только мы, т. е. люди нашего с Вами поколения, можем говорить этим языком и что нас, хотя и не всегда охотно, всё же слушают, — значительно смягчает мою обиду на то, что я родился не в 1900 году, а на 30 лет раньше».

В последнем предвоенном году (1940 г.) я много усилий отдавал работе во 2-м ЛМИ для обновления и расширения курса моих лекций по социальной гигиене на обоих факультетах — лечебном и санитарном. Тогда уже сильно давало себя чувствовать стремление сверху подменить социальную гигиену более узким понятием организации здравоохранения. Это приходилось учитывать при составлении программ. На фактическом построении и содержании моих лекций это не отражалось, так как для обоснования организации здравоохранения и всей системы его учреждений нужно было научить исходить из познания социального здоровья и умения руководствоваться его показателями. Между прочим, в преподавании санитарной и демографической статистики для студентов санитарного факультета я использовал курс математической статистики и опыт её преподавания Борисом Ивановичем Карпенко в Политехническом институте. Много внимания отдавал я также успешному ходу подготовки диссертационной работы Татьяны Степановны Соболевой о детской смертности, её социально-гигиеническом значении и системе борьбы за её снижение в сельских районах. Защита диссертации Татьяны Степановны прошла вполне успешно в ноябре. Она оказалась активным помощником по поднятию общественной работы кафедры, по организации кружка социальной гигиены и т. п.

Большим успехом в 1940 г. было издание редактируемого мною гигиенического сборника в ГИДУВе. Мне было приятно, что удалось напечатать в нём мою статью о санитарной мелиорации территории населённых мест, а также значительный по объёму мой очерк «Санитарное благоустройство Детского Села» и содержание моей экскурсии с санитарными врачами, посвящённой вопросам планировки и благоустройства. Удалось, со значительным трудом по преодолению цензурных препятствий, поместить и очерк А. Г. Малиенко-Подвысоцкого о положении больничной сети и санитарного строительства, а также о недостатках больниц в городе Ленинграде.

Другим вопросом, который занимал меня в 1940 г. в ГИДУВе, был вопрос о создании помещения для гигиенических кафедр путём надстройки двух этажей над гигиеническим корпусом во дворе Института. Пришлось устранять препятствия на пути к разрешению надстройки, а затем согласовывать требования всех кафедр и выделить помещение для кафедры школьной гигиены, которую давно уже нужно было иметь в ГИДУВе. Специальные лекции по строительству и оборудованию школ и по школьной гигиене систематически, из года в год, читал по моему приглашению для цикла жилищно-коммунальных врачей А. Я. Гуткин. Свои курсы школьной и общей гигиены он читал и циклу санитарных врачей.

Разумеется, для того, чтобы лекции по школьной гигиене для санитарных врачей могли быть обставлены наглядно-показательными материалами и могли проводиться надлежаще, необходима была организация кафедры с соответствующим помещением, штатом помощников и лабораторией. Всё это очень тщательно было обосновано в моём докладе в дирекцию. Со сво-

ей стороны дирекция вполне разделяла мои доводы, но Ю. А. Менделева¹, ревниво оберегавшая монопольное право Педиатрического института быть единственным очагом подготовки кадров для медико-санитарного обслуживания детских возрастов, успешно добивалась в Наркомздраве СССР отклонения проекта об учреждении в ГИДУВе кафедры школьной гигиены. Я смотрел на это, как на временную неудачу, и в проекте размещения гигиенических кафедр считал, безусловно, необходимым предусмотреть помещение для школьной гигиены.

Много труда было положено А. Г. Малиенко-Подвысоцким для составления эскизных проектов надстройки и перестройки гигиенического корпуса. Было, в конце концов, получено утверждение кредитов на строительное проектирование, но вся эта работа пошла насмарку в связи с войною, и теперь, через десятки лет, проект надстройки находится дальше от своего осуществления, чем когда бы то ни было раньше.

В 1940 г. настойчивее, чем в предыдущие годы, я прилагал все мои усилия в ленинградском НИИКХе, чтобы сдвинуть с мёртвой точки дело практического осуществления некоторых легко доступных мер по благоустройству жилых улиц и кварталов в Ленинграде. Директор Института И. М. Маврин согласился обойти со мной все жилые кварталы между Литейным проспектом и Лиговкой, и я на месте имел возможность показать полную практическую выполнимость закрытия ряда переулков и улиц (Озёрного пер., Ковенского, Митавского, Виленского и др.), включением их в укрупняемый квартал, и создания таким путём внутриквартальных садов и свободных озеленённых пространств. Легко было на месте убедить в полной возможности, не откладывая в долгий ящик, а фактически выполнить целую систему оздоровительных мер по реконструкции и благоустройству жилых районов города в интересах удобства жизни и поднятия здоровья населения. К сожалению, из-за войны до сих пор дело это не сдвинулось с мёртвой точки, а лишь перекрывается глыбою планировочного пустословия и краснобайства.

Приятное воспоминание осталось у меня от деятельного участия в жизни кафедры социальной гигиены 2-го ЛМИ находившегося в конце 1940 г. во временной командировке санитарного врача из Владивостока — доктора Рудника. Это был партийный человек, действительно отдавший все силы, чтобы претворять в жизнь открывавшиеся возможности социалистической перестройки общества. Он вполне понимал и разделял моё стремление отстоять на лекциях по социальной гигиене и в работах кружка социально-гигиенический подход к задачам борьбы с туберкулёзом, которая в директивных указаниях Наркомздрава СССР уже мало-помалу подменялась точкой зрения проведения противоэпидемических мер при открытых формах этой болезни.

В последние месяцы 1940 и в начале 1941 гг. я с увлечением был занят изучением материалов по организации ухода, лечения и питания больных,

¹ Менделева Ю. А. — профессор-педиатр. В 1925–1949 — ректор и одновременно зав. кафедрой социальной гигиены женщины и ребёнка Педиатрического института.

анализом общего состояния больничного хозяйства в лечебных учреждениях Ленинграда. Особенно тщательно изучал я отчётные материалы по наиболее крупным больницам — Мечниковской и Эрисмановской. Всю организацию дела в них я попытался осветить и представить наглядно в нескольких сериях графических таблиц, которые были воспроизведены Институтом здравоохранения.

Наиболее интересным для меня событием в конце 1940 г. была поездка по поручению дирекции ЛНИИКХа в Выборг вместе с Ю. Г. Кругляковым, чтобы ознакомиться с разрушениями, нанесёнными городу в ходе советско-финляндской войны и оказать помощь в организации восстановительных работ. После заключения мирного договора с Финляндией наша граница отодвинулась далеко на север от Ленинграда, и Выборг стал городом Ленинградской области. Немедленно начались работы по его восстановлению. Нам было поручено оказать содействие в вопросах планировки и благоустройства города. Ставшие во главе временных коммунальных организаций лица и назначенные им в помощь инженеры и техники очень благожелательно отнеслись к нашему приезду. В течение нескольких дней мы имели возможность осмотреть весь город, сооружения по водоснабжению, оценить состояние фактического жилого фонда и т. д. Некоторые районы Выборга были сильно разрушены артиллерийским обстрелом. В центральных же его частях многие крупные дома и промышленные предприятия не пострадали.

Огромный интерес представляло ознакомление не только с происшедшими в Выборге разрушениями, но и с оригинальным отражением в его облике разных исторических периодов его жизни. Период принадлежности Выборга к царской России запечатлён одним из центральных участков города — с русской церковью, губернаторским домом и зданием присутственных мест, как в любом прежнем губернском городе. Памятником старого шведского периода является крепость и прилегающий к ней район. Короткий период порабощения Выборга американским процветанием отмечен несколькими шестиэтажными домами для контор и служащих целлюлозно-бумажных предприятий, с доведённой до высших степеней капиталистической рационализации малометражных жилищ с механизированным обслуживанием бытового благоустройства (лифты, вода, газ, электричество и т. д.).

После осмотра нами двух городских водопроводов, ряда домов разного типа, городских улиц, площадей, садов и парков, а также хода ведущихся работ по восстановлению города, мы провели ряд совещаний с местными специалистами. Они очень приветствовали организованную помощь со стороны ЛНИИКХ. С одобрением была встречена высказанная мною мысль о желательности устройства выставки работ по восстановлению Выборга, с показом на ней всех архитектурно-планировочных материалов о положении дела до начала восстановительных работ и на всех последующих их этапах до полного завершения реконструкции, а равно и всех проектов и показательных материалов по подготовке планов дальнейшего архитектурно-инженерного и санитарно-технического развития Выборга.

Одобрена была также моя мысль об организации специальной службы (или бригады) по выявлению, учёту, собиранию, сортировке, размещению

и распределению всякого рода строительного материала и предметов оборудования, погребённых под развалинами общественных зданий и жилых домов в самом Выборге и в ближайших его окрестностях. К числу таких материалов могли относиться не только кирпич, тёсаный гранит, плиты и другие стеновые материалы, но, прежде всего, железные и деревянные балки, трубопроводы, двери, оконные рамы, паркетные полы, раковины и пр. При извлечении всех этих материалов следовало тщательно разыскивать непокрытые водопроводные трубы для ликвидации большой утечки воды из городской водопроводной сети, о чём свидетельствовали недостаточный напор воды и отсутствие её в верхних этажах.

Бросалось в глаза, даже при беглом ознакомлении, полное отсутствие механизации при разборке полуразрушенных зданий, полное отсутствие применения обычных в теперешней практике механизмов. Ни одного деррика, ни одного экскаватора на этих работах не было видно. Отсюда — медлительность и недостаточная безопасность работ. Сама собой становилась ясной задача — наладить применение современных механизмов типа экскаваторов с грейферами, подъёмников, дерриков и т. п. для уборки территории города от развалов и угрожающих падений стен и частей зданий.

Я предлагал совершенно не вводить в проекты восстановления и первоочередной застройки те обширные пространства (несколько тысяч гектаров), которые прежде были застроены небольшими домами, а теперь представляли собой беспорядочные кучи развалин, а для устранения их наводящего уныние вида произвести на всём этом пространстве лишь минимальные работы по устройству нескольких сквозных дорог и дорожек и по расчистке более свободных участков для посадки кустарников и вьющихся растений (хмель) для декоративного закрытия руин.

В предвоенный период неотступно занимали меня вопросы о переустройстве кварталов, в которых фактически обитает основная масса трудового населения Ленинграда. В ноябре 1940 г., за полгода до начала бедствий войны и блокады, я разработал проект устройства в городе показательного «нового квартала». Этот проект был представлен мною в Институт коммунального хозяйства, как лучшая форма организации постоянной жилищно-строительной выставки. Привожу основные пункты этого проекта, так как в них отражался круг тех, казалось бы, элементарных требований, за проведение в жизнь которых я в течение всего периода с 1918 г. вёл неустанную борьбу.

Устройство строительной выставки должно было преследовать следующие цели: 1) привлечь внимание строящих организаций, строителей и всех соприкасающихся со строительством общественных организаций к лучшим, наиболее рациональным, экономичным, архитектурно и технически наиболее удобным и совершенным образцам, проектам, планам и приёмам как проектирования, так и самого осуществления строительства; 2) широко показать мощь, размах и характер нового строительства в условиях советского решения жилищной проблемы; 3) облегчить обмен опытом практического строительства разным организациям; 4) взаимно ознакомить действующие в СССР строительные предприятия, как между собою, так и со всеми подсобными и техническими службами, а также с источниками

получения и изготовления строительных материалов, готовых частей, конструкций, оборудования и пр.; и, наконец, 5) выявить требования к строительству жилищ, к его формам, к планам оборудования квартир, жилых и общественных помещений со стороны разных групп трудового населения.

Все эти цели, по уже имеющемуся опыту строительства показательных домов наиболее эффективно достигаются, когда сама строительная выставка является не собранием графических — плановых и художественно-архитектурных материалов и моделей, а образцом фактически осуществленного строительства, объектов, готовых к последующему практическому использованию их для жилья и размещения учреждений коллективного пользования.

В качестве опыта такого рода замены строительной выставки показательным комплексным строительством я предлагал разработать в программе строительства 1941 г. в Ленинграде проект застройки экспериментального нового квартала размерами в 6–8 га.

К сожалению, вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну и последующая ожесточённая борьба не на жизнь, а на смерть с мощным агрессором, беспримерная по потерям, жертвам и разрушениям блокада Ленинграда похоронили этот и многие другие мои замыслы.